
Владимир АЛЕЙНИКОВ

И СИЯНИЕ

Проза поэта

Электричество вновь отключили — и тогда я зажег свечу. Неяркий, но теплый свет ее, человеческий, живой огонь озарил мою тихую комнату, ну а с нею и всю эту осень, — и тогда я все то увидел, что увидеть обязан был, и услышал все то, что должен был услышать — сквозь ночь и темень, сквозь пространство и время, — словом, по наитию, по чутью.

— Маэстрия! — Генрих Сапгир держал в руках, на весу, мою довольно большую по формату, весьма выразительную, с особой моей символикой и знаковостью, работу. Или, как мы все говорили когда-то, давным-давно, в былую эпоху, картинку. Окантованную, под стеклом. Генрих ее рассматривал внимательно. А потом аккуратно поставил на тумбочку и прислонил к стене. И опять убежденно сказал: — Володя, это маэстрия!

В этом слове Сапгир ударение сделал тогда на втором слоге, как в слове «маэстро». Хотя ударение надо делать на третьем слоге. Запомните: маэстрия.

Но простим ему это невольное, под хмельком, акцентов смещение. И — ударного слога третьего чуть левее перемещение.

Все-таки он — поэт. К тому же — авангардист.

Был у Генриха день рождения — двадцатое ноября.

Пришел я к нему — с подарком. С картинкой. Поздравил друга.

И Генрих тогда мой подарок по достоинству оценил.

Он всегда понимал — что к чему, кто есть кто, что — серьезно, а что — так себе, что — повтор, что — шедевр, что — традиция, что — новизна и так далее, то есть — он жил, и дышал, и спасался — творчеством.

Что осенью можно друзьям подарить? Наверное, лист кленовый — но легкий и чист осиновый лист, и высится бор сосновый. Несносную тягу весны не смирить — что ж здесь на ветру дрожать ей без отблеска глаз, без будущих нас, без близости рукопо-

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

жаций? Весна не весна, но смотрит она сюда, где стоит, во-первых, ноябрь у окна, — нальем-ка вина, отметим рожденье, Генрих! И есть, во-вторых, поступков живых, причуд да любви воплощенье, — что в наших грехах? Все краше в стихах — прими же мое обращенье. Что книга сия? — это миг бытия, с немыслимой надписью дщица, — за это всему благодарствую я, что может со мною случиться. Плела ль небылицы блаженная даль, в Никитском саду расцветал ли миндаль, сжимала ль ветвями мне сердце и грудь цветущих садов невесомая суть, лета ль миновали у всех на виду, душе ли желал я открытий? Не песня ли это в хрустальном бреду созвездий, соцветий, наитий? Серебряный дым почти невредим — внимает ли слову пламя? Что сбудется в нем, все будет потом, но это — потом, с годами.

...Я вспомнил, как в конце семьдесят третьего года, завершая книгу «Отзвуки праздников», отправил я в Москву, Сапгиру, изрядную грудку своих новых стихотворений и поэм, рукописные и машинописные сборники, украшенные моими рисунками, несколько наивно, может быть, но зато уж старательно, как и всегда, оформленные. И Генрих сделал широкий жест, из тех, на которые был он способен, а тем более было это очень даже в его духе, — прислал мне денег на дорогу. А на обороте почтового извещения о переводе написал он такие стихи: «Прими Поэт мой скромный дар мне предсказали Пифии что Музы сохранят твой дар в забытой Богом Скифии». Вполне по-сапгировски. И — по-дружески. Что в далекие, сложные, а нередко — тяжелые, годы было дорого для меня. И я сумел тогда выбраться — из Кривого Рога, из Скифии, — и опять начались скитания, ну а с ними — и новая книга.

(В девяностых мне говорили, что Сапгир выставлял мои книги — самиздатовские, разумеется, и, скорее всего, те самые, что прислал я ему когда-то, ну а может быть, и другие — из подаренных мною встарь, от души, собрату-поэту, — и не где-нибудь, а в Третьяковке, на какой-то огромной выставке. Что ж, бывает и так. В это время вновь я жил вдали от Москвы, но теперь уже — в Коктебеле. Жизнь моих самиздатовских книг продолжалась — уже вне меня. Были сами они по себе. Где хотели — там появлялись.)

Двадцатого ноября — у Генриха день рождения.

Был бы. Если бы он был жив. Был — на белом свете.

Осень — а Сапгира нет на свете.

Был бы жив он — позвонил бы я ему и поздравил: с днем рожденья, Генрих! — с днем рожденья, или — пробужденья? — или наважденья? — как сказать! — с днем вхожденья, с днем предупрежденья, или даже — с днем перерожденья? — побужденья? — или восхожденья — но куда? — и нитей не связать? — и узлов, как встарь, не развязать? — нет, не верю! — живы убежденья в том, что злу нас на испуг не взять, — в ноябре добру забот хватает, — что за дух с эпохой витает? — что за слух поодаль обитает? — что за вздох в пространство улетает, чтобы время вспыхнуло опять светом, что встает и возрастает вглубь и ввысь, чтоб возвратиться вспять? — впрямь тропа к тому не зарастает, что зовет нас — петь, — а там и в путь, — что за воздух непогодь глотает, норовя вблизи передохнуть, да на ус, как некогда, мотает, кто есть кто, чтоб взять да обмануть, словно книгу, жизнь перелистнуть? — нет, не то когда-то испытает, что простит, а может быть — питает влагой светлой, — что-нибудь растет, чтоб остались — истина и суть.

* * *

...Век — миновал. Но так ли это? Не все с ним просто. Или: не так-то прост он, век этот, в коем жили все мы, один — для всех, без исключения. Век — жив еще. Ибо

память — наша — о нем — жива. Трудно ему, конечно, взять да расстаться с нами. Он уходить — не хочет. Грустно ему — без нас. Топчется где-то рядом, осторонь, бродит ночью, тычется в окна, в двери, мается в полумгле. Был — и, поди ж ты, нету больше его? Неправда. Есть он. И все, что было связано с ним — живет. Век — существует. Память — тоже материальна. Мы существуем в прошлом так же, как и сейчас. В будущем жить придется звуку былого века, речи его, и — свету ясному: весь он — в нас. Так не спешите, братья, днесь расставаться с веком, всех нас взрастившим. Вспомним — кто мы? Откуда мы? Все мы — оттуда, други, все мы — из века, в коем жили мы, как умели, пели — и шли вперед, чтоб оказаться разом в самом начале века нового, — то-то всем нам петь предстоит и впредь...

* * *

— Скажи мне честно, Володя, скажи мне открыто и прямо, скажи мне, как на духу, по-дружески, да и по-свойски: ты сможешь когда-нибудь, ну, там, в том самом грядущем, которое, как ни крути, однажды все же придет, да, придет, написать обо мне? — спросил меня как-то, давно, в семидесятых, Зверев.

Я ответил ему:

— Смогу.

И Зверев тогда улыбнулся, и глаза его влажными стали, и лицо его посветлело, и сказал он свое:

— Хорэ!

Да, хорэ. Сквозь время — хорэ.

Ночь. Луна в литом серебре.

Или солнце — и ясный день.

Из былого — сквозь строки — тень.

Или — взгляд. Или — зов. Сквозь боль.

Век таков. Такова юдоль.

Или — творчество: навсегда.

В небе хмуром — сквозь хмарь — звезда.

Зверев немного подумал и сказал мне:

— Знаешь, Володя, все-таки я не один, такой вот, как есть. Особенный. Нас, между прочим, немало. Нас, художников наших. И есть среди них достойные, талантливые. И поэтому, если ты будешь писать когда-нибудь обо мне и обо всем, что было в трудное наше время, то пиши уж и о других. И о поэтах наших. И о прозаиках наших. А еще и о людях разных, колоритных, из нашей среды. Потому что все мы, конечно же, это факт, единое целое. Как нас потом назовут? Небось придумают что-нибудь, этакое выразительное, скорее всего, название. И все тогда согласятся с этим. А ты — пиши. Не обо мне одном. Обо всех нас. Поскольку мы — не какой-нибудь сброд. Мы — явление. И таких, как мы, я считаю, днем с огнем не найдешь нигде — ни в Америке, ни в Париже. Мы — на родине у себя появились — и состоялись. И останемся здесь — навсегда, я считаю, в искусстве нашем. И в поэзии нашей, и в прозе. То есть в том, что мы создаем — и еще, даст Бог, создадим. В нашем — личном и общем — творчестве. Так — разумнее. Справедливее. Так я думаю. Ты понимаешь?

Я ответил:

— Да, понимаю. Постараюсь я написать и о других художниках. И не только о них, разумеется. Обо всей нашей славной братии.

Зверев сказал:

— Пиши. Я тебя — благословляю. И говорю: хорэ!

Мы стояли вдвоем со Зверевым в незнакомом каком-то дворе.
Это было — припоминаю — поздней осенью, в ноябре.
Листья жухлые под ногами. Ветер, холод, ледок, снежок.
Небеса свинцовые, низкие. Окна — в ряд. Иногда — в кружок.
Гул столичный. Предзимья веянье. Предвечерья печальный час.
Стены, вставшие за деревьями. Чувств и слов золотой запас.
Разгоравшиеся поблизости неприкаянные огни.
Мы стояли вдвоем со Зверевым в мире этом — совсем одни.

— Куда же податься нам? — спросил задумчиво Зверев.

Я ответил:

— Куда-нибудь.

— А точнее?

— Надо подумать.

— Будем вместе думать?

— Давай.

— Думы, думы, вы так угрюмы!

— Ты опять говорить будешь в рифму?

— Захочу — и буду. А что?

— Говори, если очень хочется.

— Почему-то уже не хочется.

— Почему?

— Да откуда я знаю?

— Что ж, понятно.

— А мне, представь себе, непонятно.

— Бывает всякое.

— Вот и я говорю: бывает.

— Но куда мы пойдем?

— Вперед!

И мы зашагали — вперед.

Отправились — в никуда?

Нет, пожалуй. Туда, где вечер наступал, надвигался, всюю темнотой своей, на столицу. Где огней становилось все больше, а людей — все меньше и меньше на окрестных всех тротуарах. Где машины с зажженными фарами проносились — все мимо и мимо. Мимо нас, бредущих задумчиво сквозь вечерний предзимний мир. Мимо редких деревьев с последними, облететь не успевшими листьями. Шли и шли мы. Туда, где, может быть, примут нас, где удастся время скоротать, в уюте, в тепле. А потом? А потом — куда-нибудь дальше двинемся. Но куда? К новым, где-то вдали, пристанищам. Ну, допустим. И что — тогда? Новый путь. Скитания новые. Так уж вышло. Зачем роптать на судьбу? Времена — суровые. Даже слишком. Уж как пить дать. И поэтому — в путь. Ведь ангелы все равно над нами поют. Шли вперед мы, путники странные. И нашли в итоге — приют.

И там, в компании тесной вполне симпатичных с виду и, возможно, хороших людей, оживленных, слегка взбудораженных внезапным нашим визитом к ним, старавшихся проявлять к нам внимание, даже вроде бы в меру все же гостеприимных, провели мы какое-то время. То ли час, то ли два, то ли три. Ну а может, и все четыре. Допускаю. Ведь мы в итоге засиделись там допоздна.

И опять повторились — обычные ритуалы. И вновь традицию посещений знакомых наших, и особенно вот таких, как сегодняшнее, внезапных, на авось, как уж выйдет, было бы где немного нам отдышаться, мы со Зверевым продолжали.

Я достал из портфеля буханку «Бородинского» черного хлеба и бутылку сухого вина.

Зверев достал из-за пазухи апельсин, баранку и яблоко. И, помедлив, достал бутылку коньяка. И желтый лимон.

А хозяйева заварили — от щедрот своих — чай «со слоном».

Говорили мы — но о чем же?

Как обычно — о том да о сем.

Выпивали. Коньяк быстро выпили. А потом принялись — за вино.

Как всегда, не хватило выпивки. И хозяйева, чуть помявшись, из буфета достали заначку — вот уж радость — бутылку водки.

И пришлось мне — читать стихи. И по просьбе хозяев пару их растрогавших стихотворений — им в подарок — в какой-то тетрадке, мне подsunутой, записать.

И пришлось тогда Звереву тоже — поработать. Хозяев наших — на листках, из альбома вырванных, вдохновенно изобразить. Как говаривал Толя частенько, с прибаутками, — увековечить.

Словом, оба мы, люди творческие, в этот вечер хозяев наших, как умели, отблагодарили.

И хозяйева — были довольны.

Что же — дальше? А дальше — вновь побрели мы куда-то. В ночь? Или — в будущее? Пожалуй.

Ветер зябкий гудел. Москва сохраняла свои права. Вместе с явью — былой, небывалой...

* * *

...Желтые листья кружились в жемчужном, с прожилками яшмы и серебряной нитью, воздухе над головами прохожих. Синева небес была яркой. Солнце грело. И люди шурились, на источник света поглядывая, рассиявшийся наверху. Ну а понизу чуть сквозило ветерком, и асфальт высыхал на удивление быстро, хоть по углам, в тени, и поблескивали зеркалами, опрокинутыми случайно, малочисленные, небольшие, уцелевшие после дождя, отшумевшего ночью, лужицы, отражавшие небо с листьями, лица, стены, витрины, окна, и меж ними ходили голуби, не боявшиеся людей, и шныряли в поисках пищи воробьиные шустрые стайки, а поодаль, за кровлями, там, за Кремлем, за Москвою-рекой, вырастала, густея в пространстве, грядущая хмарь, но ее замечать никому не хотелось, и время, щадя округу, от щедрот своих, пусть ненадолго, не спешило напомнить об этом, и город вставал на пути ее неприступной старинной крепостью, всех от невзгод защищая, непогода ли это, беда ли какая, зима ли суровая, битва ли это жестокая, череда ли забот предстоящая, мало ли что, но тепла в нем еще хватало для всех.

Осенью шестьдесят третьего, в октябре, опьяненный своими прогулками по столычным солнечным улицам, шел я в центре, мимо кафе «Дружба», между Неглинкой, тихой и малолюдной, и довольно шумной Петровкой.

Навстречу мне шли неспешно двое людей незнакомых и о чем-то своем разговаривали. Видно, двое хороших приятелей.

Один, с буйной гривой вьющихся, густых, смоляных волос, глядящий куда-то вдаль, прямо перед собою, но выше людских голов, горящими жарким пламенем, темными, южными, бархатными, но словно слегка обугленными, скорбными или грустными,

трудно сказать, глазами, смугловатый, среднего роста, легко и свободно шагающий по тротуару, какой-то с виду очень уж необычный человек, тридцати пяти приблизительно лет, не больше, двигался вроде и рядом со своим разговорчивым спутником, но и совсем отдельно от него, бубнящего что-то неразборчивое, и тем более отдельно от всей толпы людской, от всех, от всего, что было вокруг, совершенно независимо, сам по себе, в порыве, словно вот-вот раскроются сильные крылья у него за плечами, и он взлетит, устремится ввысь, и настолько был он, подумалось, ни на кого не похож, настолько своеобразен, красив какою-то древней, тонкой, резной, индийской или же украинской, породистой красотой, настолько был не из этого времени, не из этой реальности, не из этой вот повседневной, московской, привычной всем и каждому толчеи, что я, глубоко пораженный, даже остановился.

Спутник его, человек нескладный, несколько взвинченный, может, и вдохновенный, по-своему, так бывает, но все равно почему-то более прозаичный, высокий, на вид помладше, лет около тридцати, в сползающих на нос очках, со спутанными ветерком, всклокоченными вихрами, на ходу, на каждом шагу, поворачивался к приятелю и настойчиво, непрерывно что-то ему говорил.

Темноглазый красавец шел молча, слушая своего спутника разговорчивого, но будто бы отделенный от него и от всех его слов некоей осязаемой, пусть и незримой стеной.

Двое странных весьма незнакомцев приближались уже ко мне.

Очкастый, явно подвыпивший, довольно громко, с утрированным, театральным каким-то пафосом, темноглазому говорил:

— Нет, Коля, я все понимаю. Я понимаю, Коля, ты — гений. Живой. Настоящий. Ты гениальный поэт. И ты столько уже написал! Но жить, Коля, как-то ведь надо! На что-то ведь надо жить! Существовать. Питаться. За жилье аккуратно платить. Выпивать иногда, как все люди. Ездить куда-нибудь. Я понимаю. Да. Все понимаю прекрасно. Ты живешь в своем мире. Ты его создал. Это твой мир. Но годы идут, Коля. Никто тебя не печатает. И не собирается, судя по всему, и в дальнейшем печатать. А ты все пишешь да пишешь. Ну да, ты гордый у нас. Царская кровь! Порода! Но ты оглянись вокруг. Спустишься с облаков на землю. Ты где живешь? И в какой стране? И в каком времени? Эх, Коля, Коля, дружище! Вот смотрю я сейчас на тебя — и грусть меня снова охватывает. Ну, хорошо, ты еще достаточно молод. А дальше? А что дальше? Ну что? Надо ведь что-то делать! Надо как-то, видать, пробиваться! Возьми Евтушенко, Женю. Ты с ним учился вместе в Литинституте. Я с ним учился. Выбился парень! И разве можно его стихи с твоими сравнить? Ты, обладатель таких дивных, несметных сокровищ, пребываешь в полной безвестности. Ну, знают стихи твои друзья. Ну, еще кое-кто. А Женя-то знаменит. Его-то весь мир знает. Он пробился. А ты и не думаешь пробиваться. Не хочешь, и все тут. Живешь себе и живешь. Пишешь и пишешь. Надо ведь что-то все-таки делать, Коля!..

Темноглазый красавец молчал.

Ничего не ответил он своему очкастому спутнику.

Он только вдруг побледнел у меня на глазах, высоко закинул кудрявую голову, и глаза его вспыхнули жарким, солнечным, звездным огнем.

Так, с закинутой головою, словно птица в свободном полете, разливая вокруг себя исходящий из глаз его жар, прошел он вместе с приятелем отдельно и от него, и от всех остальных в толпе, мимо меня, потом через Неглинку, и дальше, на Кузнецкий мост, и все выше по Кузнецкому, выше, туда, где меж крышами зданий проглядывало удивительно синее небо, и скрылся там, вдалеке.

Только позже, в семидесятых, понял я, в озаренье мгновенном: это был Николай Шатров.

В начале семьдесят пятого, посреди тогдашних бездомниц, познакомился я и вскоре подружился с Женей Нутовичем, знаменитым коллекционером, собравшим за многие годы замечательную коллекцию современной, нашей, отечественной, авангардной, запретной живописи.

Это была одна из лучших коллекций в стране. Убедился я в этом сразу же. Своего тогдашнего мнения не собираюсь менять и ныне. Что есть, то есть.

И едва я взглянул на Нутовича, как в ту же секунду признал в нем очкастого, разговорчивого спутника темноглазого красавца в незабываемом для меня октябре шестьдесят третьего, между Неглинкой и Петровкой, солнечным днем.

Не удержавшись, я тут же поведал об этом Жене.

Став серьезным, он призадумался. Уставился сквозь очки свои вдаль, словно пристально вглядываясь в дорогое, минувшее время.

Потом убежденно сказал:

— Конечно, все совпадает, это были мы с Колей Шатровым.

— Вот видишь! — сказал ему я.

— Но как ты все это запомнил? — изумленно спросил Нутович.

— Запомнил! — ответил я. — Нельзя было не запомнить.

Мы сидели с Женей вдвоем, в самой большой комнате, заполненной, плотно увешанной, от потолка до пола, замечательными картинами.

Целков, Кабаков, Соостер, Мастеркова, Немухин, Рабин, Харитонов, Зверев, Плавинский, Слепышев, Кропивницкий, подаренный мной Ворошилов...

Кого же там только не было!

Не квартира — крупный музей.

Выпивали, понятное дело.

Женя был человек пьющий.

Он меня приютил у себя.

Сам отлучался частенько, то к матери, то еще куда-нибудь ненадолго или надолго, по-всякому выходило, давно привык.

С женой был Женя в разводе. Супругу его, пусть и бывшую, я так никогда и не видел. Говорили: собой хороша.

Был я в его трехкомнатной квартире таким стражем при коллекции первоклассной.

Зато на зимний холодный период, в пору бездомниц, был у меня и ночлег.

Почему же не угостить, иногда, уж как получается, по своим возможностям скромным, приютившего вдруг меня, скитаниями многолетними порядком уже измотанного, у себя в московской квартире, от души, добровольно, искренне хорошего человека?

Дары мои выпивонные Нутович всегда принимал как нечто само собою разумеющееся. Любил он, выпивая неспешно, с толком, обстоятельно побеседовать со мною на самые разные, нередко полярные темы, где хватало и тьмы низких истин, и, за ними, немедленно, нас возвышающего обмана, и мистического тумана, и стихов, что вовсе не странно, и легенд без оков и прикрас.

Женя выпил еще глоток и спросил меня с теплой, почти задушевной, протяжной ноткой в сипловатом, простуженном голосе, что бывало всегда у него самым верным, первейшим признаком лирического, с вариациями различными, настроения:

— А скажи мне теперь, Володя, ты Колю Шатрова знаешь хорошо или так, немного?

— Виделись иногда, — сказал я, — но дружба у нас не возникла. Уж так получилось. Я — сам по себе. Он — сам по себе. Две планеты разные. Два разных мира, вернее.

— Да, — сказал Нутович задумчиво, — так бывает в жизни, бывает. А вот странно! Смотри, как выходит. Поскольку я нынче стихи твои знаю уже основательно, то, Володя, тебе говорю откровенно и прямо: ты гений. Познакомился я с тобой недавно. И вижу, что наше знакомство переходит в хорошую дружбу. Колю Шатрова я знаю

очень, очень давно. И давно считаю: он гений. А теперь ты, Володя, скажи мне: почему два таких поэта, как вы с Колей, живя в одно время и зная одних и тех же примерно людей в Москве, ну, пусть и не всех он знает, кого знаешь ты, у тебя круг знакомых побольше, но все-таки почему же вы не подружились?

— Господи! Ну и вопрос! Так и знал, что его услышу, — сказал я тогда Нутовичу. — Но ты ведь прекрасно, Женя, понимаешь, что так бывает. И не так ведь еще бывает. Хорошо, что живы мы оба. И на том спасибо. В трудах дни проводим, каждый по своему. А в дальнейшем — кто его знает? — может, и дружба возникнет. Я себя сроду, известно всем, никому никогда не навязывал. Коля, как вижу я, тоже. Друг другу мы не мешаем. Существоем, каждый из нас отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга. Так уж вышло. Такая судьба.

— Судьба! — согласился Нутович. — Вот именно. Так я и думал. Судьба. Да. Везде — судьба.

Он шумно вздохнул. Налил себе вина в стакан, до краев. Помедлил. И разом выпил.

Я встал. Подошел к окошку, разукрашенному затянувшейся стужей в палехском духе. Походил немного по комнате. Открыл запыленную крышку пианино, взял несколько джазовых аккордов. Потом присел за старенький инструмент, стал негромко играть.

Женя, опять вздохнув, налил себе новый стакан, до краев, конечно, вина.

— Ты Гершвина, колыбельную, из «Порги и Бесс», ну, ту самую, сегодня можешь сыграть? — спросил он меня задумчиво.

— Могу! — откликнулся я.

И заиграл эту вещь, не гершвиновскую, кстати, не им самим сочиненную, но им когда-то записанную, превосходно аранжированную, вышедшую на свет из негритянских распевов. Я и сам ее очень любил.

Женя снова вздохнул и сказал:

— А давай позвоним Коле Шатрову! Он у своей Маргариты, недалеко от меня, живет. Пусть приедет! Выпьем. Поговорим. Стихи почитаете, оба. И подружитесь, полагаю.

— Звони! — согласился я.

Нутович, стакан отодвинув, потянулся рукой к телефону. Быстро набрал номер.

— Алло! Маргарита? Приветствую тебя. Это Женя Нутович. Скажи мне, а Коля дома? Что, что? Не слышу. Он в Пушкино? На даче? В такой-то холод? Ну, это в шатровском духе. Снова пишет? Ну, молодец. Ты ему передай, что звонил Нутович. Мы у меня, вместе с Володей Алейниковым, поэтом. Да, да, с тем самым. Знаешь? Вот и чудесно. А Коля когда появится? Что? Не скоро еще? Ты сама едешь к нему? На ночь глядя? Ну, тогда привет передай. От нас обоих. Пусть пишет. Созвонимся потом. До встречи!

Он, вздохнув, положил трубку.

— Жаль, что не вышло встретиться с Колей прямо сейчас!

Уж так ему, видно, хотелось этого нынешним вечером.

— Ничего, не переживай, — сказал я. — Еще увидимся.

— Увидимся! — согласился Нутович. — А так мне хотелось, представляешь, чтобы мы встретились!

— Все успеется, Женя, — сказал я. — Все у нас еще впереди.

— Да, — согласился Нутович, — все у нас еще впереди.

Впереди были два всего-то года жизни у Коли Шатрова.

Но разве тогда, зимой, посреди холодов и снегов, оба мы знали об этом?

...Время вдруг разъялось — и я увидел себя, измученного, совершенно больного, в бреду, в невероятном семьдесят седьмом, Змеином году, в дни бездомниц, на склоне марта.

Каким-то непостижимым образом, не иначе, даже не волю, наверное, собрав уму-дრившись в сгусток энергии, не поддающейся логическому толкованию, а что-то куда выше воли и тем более выше упрямства простого, тогда я добрался до Марьиной Рощи, в дом, находящийся неподалеку от чудесной церкви Нечаянная Радость, близко совсем от того, среди пятиэтажек и дворов пустоватых, места, где мой друг Леонард Данильцев познакомил меня когда-то с Игорем Ворошиловым, и знакомство это немедленно, по счастью, стало началом нашей дружбы, высокой и светлой, с этим великим художником, — добрался я, преодолевая себя, на авось, по чутью, к Виталию Пацюкову, в давние времена, и особенно в шестидесятых, тоже другу, так я считал.

Я добрался туда, в жару, с трудом держась на ногах.

Пацюков приютил меня.

Уступил мне комнату маленькую в своей обжитой, двухкомнатной, довольно уютной квартире.

Там, в окружении множества книг и хороших картин, стояли письменный стол, стул и узкая, старая, низенькая тахта.

И я, обессиленный, сразу же просто рухнул на эту тахту.

Пришлось мне, как говорят в народе простом, несладко.

Трое суток не мог я подняться.

Ничего совершенно не ел.

Только изредка пил воду.

Пот холодный лил с меня так, что тахта промокла насквозь.

Я не спал. Пытался заснуть. Почему-то не получалось.

Странные состояния, пограничные, между явью и сном, — да, вот это было.

Мне надо было теперь обязательно перебороть болезнь, в которой, наверное, все собралось воедино: простуда сильнейшая, боль, безысходность, усталость безмерная, физическое истощение, нервное напряжение от всех моих затянувшихся, кошмаром ставших бездомниц, отчаяние, тоска, надежда на чудо — все, все.

Я попросил хозяев, друзей моих, то есть Виталия и Светлану, его жену, слишком уж не пугаться, не переживать за меня, врачей никаких, что бы ни было со мною, не вызывать, а просто дать мне возможность отлежаться в тепле, в тишине, оставить меня одного на какое-то время в покое.

Кажется, Пацюковы правильно меня поняли.

Не на улицу ведь меня, захворавшего, выпроваживать, да еще в таком состоянии!

Приютили меня, слава богу.

До выздоровления. Временно.

И на том спасибо. Тогда я это очень ценил.

И я, друзьями оставленный смиренно, с самим собою наедине, в отдельной, с книгами и картинами, с окном занавешенным, с дверью приоткрытой, на всякий случай, маленькой, тихой комнате с погашенным светом, лежал на узкой тахте и бредил.

Тяжко пришлось мне, что там теперь такое скрывать.

Подумывал даже: выжить бы.

За окнами разгулялась всю холодная, влажная, позднемартовская, тяжелая, затяжная, безбрежная непогода.

Я лежал на узкой тахте, в одиночестве, в темноте, в тишине, среди книг и картин, и преодолевал болезнь.

Меня посещали все время видения, невероятные, непрерывно, как в киноленте отдельные, частые кадры, сменяющиеся, мелькающие, чередующиеся с какой-то

непонятной совсем быстротой, развернутые в каком-то неизвестном, странном пространстве, возникающие в каком-то совершенно ином измерении, чем привычные нам, земные.

Помимо болезни моей, томило меня и мучило еще и предчувствие острое неправимой беды, которая, может быть, даже произошла уже или вот-вот, мерещилось, внезапно произойдет с кем-то из очень хороших, дорогих для меня людей.

Видения надвигались, накатывались, наслаивались, наползали одно на другое, смешивались, клубились, исчезали, опять возникали, стремительно, без перерывов.

Я слышал чьи-то знакомые голоса. Слышал громкие крики.

Потом нежданно-негаданно что-то вдруг меня с места сорвало, подняло высоко над землю — и вынесло прямо в космос.

Там, на виду у нашей многострадальной планеты, мерцавшей внизу, в черноте, поистине беспредельной, невыразимо огромной, происходили действительно небывалые, странные вещи.

Там снимали какой-то фильм.

Это была мистерия.

Почему-то я вмиг это понял.

Не драма и не трагедия.

Эти жанры здесь не годились.

Мистерия. Именно так.

Режиссер знаменитый, Андрей Тарковский, в клетчатой кепке, в распахнутой кожаной куртке, с шарфом на птичьей шее с выпирающим кадыком, скуластый, черноволосый, весь в движении, упоенный дивным ритмом, редчайшей возможностью что-то важное для него прозревая в происходящем, тут же снять его, руководил съемками кинофильма.

С металлическим, серебрящимся рупором в быстрых, вытянутых куда-то вперед руках летал он меж оператором со стрекоучей кинокамерой и актерами, среди которых то смутно, то более четко различал я знакомые лица.

И вот уже прямо на съемочную площадку, в пестрый сумбур ее, в ледяном созвездий мерцании, в космической черноте, ворвалась откуда-то издали, извне, из других галактик, чудовищная, по мощи и по размаху, сила, стихия, вселенская буря, скопление тусклых шаров, раздробленных, острых камней, песчинок, метеоритов, обломков прекрасных зданий, разнообразных предметов, обиходных, самых простых, и загадочных, неземных, иголок с длинными нитями, изорванных книжных страниц, свернутых в трубки свитков, статуй, осколков зеркал, невероятное месиво, жуткое завихрение, и надвинулось вмиг на всех, и Тарковский метался в космосе и кричал отчаянно в рупор:

— Снимайте! Скорее снимайте!..

И фигуры людей закружились в черноте, в мерцании звездном, — ну в точности как на картинах моего тогдашнего друга, печального ясновидца, родом из-под Чернобыля, Петра Иваныча, Пети Беленка, художника, видевшего наперед и такое ведавшего, чего не знали другие, — всех куда-то наискось, в сторону, вглубь, за хрупкую грань реальности, что-то стало вдруг уносить, и унеслись киносьемки в неизвестность, словно в воронку, вместе с ужасным, всеобщим, хаотическим завихрением.

И услышал я крик:

— Маргарита! Отвори мне скорее кровь!..

И тогда показалось мне, что это голос Шатрова.

И возникла чудесная музыка, светлейшая, непохожая на все, мною ранее слышанное.

Музыка длилась и длилась.

— Николай! — раздался откуда-то громкий, спокойный голос.
И другой, вслед за ним:
— Шатров!
И потом прозвучало:
— Царь!
Я все это слышал отчетливо.
Был в бреду. Посреди видений.
Но Шатров, носивший фамилию материнскую, так получилось, по отцу был Михин, потомок, это знали все мы, Ивана Калиты, то есть царской крови.
Калита — из скифского рода.
Много скифов было когда-то на Руси, много было в Москве.
Отсюда и характерная, бросающаяся в глаза внешность шатровская, смуглота его, красота, восточная, южная, древняя.
Обрывки этих и прочих, подобных соображений проносились роем в мозгу.
Их сменяли видения, новые, надвигавшиеся непрерывно.
Все усиливалось ощущение разрастающейся тревоги.
Боль была слишком сильной, просто невыносимой.
Меня лихорадило, в жар бросало, знобило, крутило.
Я то стонал иногда, то упрямо стискивал зубы и молча лежал и терпел.
День сменялся кошмарной ночью, ночь сменялась кошмарным днем, а я все бредил и все еще мучительно выживал посреди бесконечных, бессонных, измотавших меня видений.
И вот, сам не зная, зачем, почему я, больной, это делаю, нашарил я в темноте листок бумаги и ручку — и набело записал, почти вслепую, на ощупь, четыре стихотворения, мистических, как оказалось, и сверху потом написал название странного этого цикла: «Во дни беды».
И случайный листок бумаги с неизвестно зачем записанными на нем в потемках стихами, вместе с ручкой, сразу же выпал на пол, вниз, у меня из рук.
То ли я потерял сознание, то ли все-таки, может, заснул.
Утром я очнулся, уже отчасти поздоровевший.
Мне было неловко, что я, поневоле, ведь не нарочно, потревожил чету Пацюковых.
Извинился я перед ними. Сказал им, что постараюсь вскоре уйти от них.
Но куда идти? И к кому?
Да еще в таком состоянии.
Телефон был рядом. Пришлось хоть кому-нибудь позвонить.
Механически я набрал застрявший в памяти номер одного своего знакомого, который порой позволял мне пожить, на птичьих правах, недолго, в его квартире.
И услышал голос его:
— Вчера мы похоронили, вот беда-то, Колю Шатрова...
Трубку выронил я из рук.
И увидел, внизу, на полу, возле тахты, где я мучился посреди видений, в бреду и сражался за жизнь, исписанный мною листок бумаги.
Поднял его. Прочитал стихи свои. И — все понял.
С трудом изрядным собрался.
Попрощался любезно с хозяевами.
И ушел — куда-то вперед.
В пространство. Или сквозь время.
В боренья свои — с недугами, видениями, кошмарами.
В бездомицы. В явь столичную.
На звук вдалеке. На свет...

Через год Маргарита, вдова Шатрова, когда рассказал я, вкратце, без многих подробностей, ей о своих видениях и показал записанные тогда, в конце марта, стихи, голу подняла высоко — и грустно сказала:

— У Коли был сильный приступ. Он закричал: «Маргарита, отвори мне скорее кровь!» Я растерялась тогда. Ничего я не понимала. Вчера только был он вполне, так думала я, здоров, как раз, похудевший, спокойный, вышел из голодания, целый месяц ведь голодал. И его Кириллов с Ширялиным, знакомые люди, нормальные вроде бы, так я считала, уговорили выпить. Домашняя самогонка, очень чистая, уверяли, что целебная даже, возможно, не пробовала, не знаю, не пью и другим не советую, постоянная на травах. А на следующий же день ему стало внезапно плохо. Я испугалась. Очень. Совершенно не знала, как вести себя, что мне делать. Вызвала по телефону врачей. Приехала к нам «скорая помощь». Коля в тяжелом был состоянии. Его увезли в больницу. Там в тот же день он умер.

И Маргарита надела на свою сухую, точеную, темноволосую голову королевы воображаемой приготовленную заранее, в обычной сумке, с которой ходила она везде, в одиночестве королевском, в роли вдовы поэта великого, несравненного, который сказал ей однажды: «Когда я умру, ты увидишь сама, что начнется тогда», собственноручно сделанную ею, изящную, легкую, как в детской игре, корону.

Маргарита всегда ее надевала, когда приходила в гости к своим знакомым.

Картонная, королевская, корона, сверху оклеенная конфетной, блестящей фольгой. Отчасти, можно подумать, карнавальная, игровая.

Отчасти же — отдающая безумием, роковая.

Король со своей королевой.

Николай со своей Маргаритой.

Она так давно считала.

Так всегда говорила.

На стене ее дачного домика в Пушкино, деревянного, вроде скромного теремка или старенького скворешника, — сказал мне кто-то, сгоревшего, больше не существующего, но так ли это, не знаю, — нарисованы были, помню, король со своей королевой. Разумеется, оба — в коронах.

Маргарита была художницей. Годами делала кукол. Каких-то я, кажется, даже видел. Но не запомнил.

Маргарита была блаженной. И практичной — как-то навыворот. Что ни сделает — все не так. Но старалась всегда — держаться.

Она была старше Шатрова. Лет на десять. Никак не меньше.

Но существенной разницы в возрасте никогда она не замечала.

Колю она любила страстно, преданно, самозабвенно.

И очень уж своеобразно. Как никто никого не любил.

Шатрова похоронить хотел возле церкви, в которой служил он в семидесятых, отец Александр Мень.

С этим известным священником Шатров дружил и частенько, по-соседски, к нему зааживал, когда жил на даче в Пушкино.

Староста церкви, дама без имени и фамилии, решительно воспротивилась тому, чтобы здесь, у храма, какого-то там подпольного, неизвестного ей поэта, даже если на этом настаивал сам священник, захоронили.

И тогда Шатрова — сожгли.

Как давно предсказал он в стихах своих.

В крематории. В пламени страшном.
Урну с прахом — вручили вдове.

Урну с Колиным легким прахом, светлым пеплом, от жизни оставшимся, королевским, вернее, царским прахом, духом, вздохом по прожитым вместе с мужем счастливым годам, по любви, по женскому счастью, Маргарита держала долго при себе, у себя дома. Чтобы рядом супруг был всегда.

Когда она время от времени отправлялась куда-нибудь в гости, то неизменно с собой, в сумке или в пакете, и урну с прахом прихватывала.

Придет, бывало. Накрашенная. Принаряженная. Причесанная.
На свою точеную голову корону тут же наденет.

Урну с Колиным прахом достанет из сумки или пакета — и сразу ее на стол, на самое видное место.

И приветствует всех собравшихся с достоинством, по-королевски:
— Здравствуйте! Мы к вам сегодня в гости с Колей пришли!..

Некоторые мнительные, с воображением развитым, пожилые, седые граждане, и не только они одни, но даже, куда уж дальше, зеленая молодежь и, особенно, разумеется, чувствительные сверх меры и до крайности впечатлительные, из числа поклонниц шатровских былых, из числа любительниц поэзии, милые дамы немедленно падали в обморок.

А Маргарита, высокая, стройная, королева, да и только, блестя глазами, одной рукой прижимая как можно крепче к себе урну с Колиным прахом, другой рукой грациозно поправляла свою корону и читать принималась всем, по памяти, с выражением, королевским, звенящим золотом, хорошо поставленным голосом шатровские, удивительные, провидческие стихи.

Потом, по прошествии некоего, довольно долгого, времени, она, королева вдовая, все-таки захоронила бесприютный шатровский прах.

Потихоньку. Втайне от всех.
Нелегально. Без всяких формальностей.
На Новодевичьем кладбище.

В месте привилегированном.

Там, где давно покоится отец ее, крупный советский деятель времени сталинского, латыш, человек суровый и надежный, Рейнгольд Берзинь.

В уголочке вроде каком-то закопала урну. Под боком, под опекою, у отца.

Пусть ее король там лежит.

Уж она-то об этом знает.

Остальные — это неважно.

Тихо, мирно, самостоятельно, никого ни о чем не спрашивая и тем более не упрашивая, не вымаливая позволения на такое вот захоронение, как вдове у нас полагается, и тем более — королеве, предала она прах поэта, как сумела, сама, земле.

О чем впоследствии мне однажды и рассказала, чрезвычайно собою довольная.

Вот такая — о, Боже! — история.

И такая, представьте, судьба.

Наивысшая категория.

Сон — вне яви. И — пот со лба.

Что ни шаг, то сплошная мистика.

(Россыпь строк на пространстве листика.)

Что ни взгляд, зазеркальный знак.
(Не собрать их теперь никак.)
Что ни слово, астральный свет.
(Путь сквозь век. Черета примет.)
Кто сумеет — собрать, сберечь?
Ночь пройдет. Возвратится — речь.

А потом, уже в девяностых, Маргариту просто ограбили. Расстарался некий субъект. Ей само же и назначенный, а зачем, поди разберись, неизвестно откуда свалившийся на ее королевскую голову, бес пронырливый или монстр натуральный, из как бы времени, по ее же наивному мнению, деловой человек, рассудительный, обещающий-душеприказчик.

Все забрал у нее, подчистую. Рукописи, фотографии.
Все, что связано было с Шатровым.
В мешки все это сложил — и утащил. С концами.
Об этом поведали мне друзья шатровские старые.

Магарита — не Берзинь, а Димзе.
Почему — ее не расспрашивал.
Пострадала семья. Репрессии.
В лагерях намучилась мать.
Маргарита звонит иногда.
Уж не знаю, цела ли корона.
Тяжело мне с ней говорить.
Жаль ее. Но за Колю — больно.

Маргарита недавно звонила.

Она почему-то решила подарить мне шатровский костюм. Шведский костюм. Целехонький.

Тот самый, один-единственный из всей одежды имевшейся — приличный, в котором Шатров, бог знает когда, лет сорок назад или даже больше, надев его специально, чтобы выглядеть посOLIDнее, оправился как-то к поэту хорошему, с трудной судьбой, сибиряку, Леониду Мартынову, в гости, в надежде, что тот ему, понимая в стихах, глядишь, и поможет с публикациями, но Мартынов, едва завидев костюм, немедленно заявил, что для бедствующего поэта, совершенно не издающегося, это слишком шикарно, и в помощи Шатрову тогда отказал.

И вот Маргарита вспомнила, через столько лет, о костюме:

— Возьмите его, Володя! Он вам как раз впору. Вы с Колей одной комплекции. Костюм совершенно новый!..

Ну что на такое скажешь?

Не нужен мне этот костюм!

Когда-то, в былые годы, когда мы, с моей женой Людмилой и нашими маленькими славными дочерьми, жили дружно, но крайне бедно и носить мне и в самом деле иногда было просто нечего, а купить в магазине одежду, даже скромную, просто не на что, Маргарита пришла к нам однажды в гости и подарила мне шатровский старый костюм, который, как оказалось, в свою очередь, встарь когда-то подарил ему друг его добрый, знаменитый тогда пианист Софроницкий, и я от безвыходности костюм этот, серый, потертый, какое-то время носил, а потом перестал носить.

И еще она, в те же, далекие, времена глухого безвременья, подарила мне, от щедрот своих, старый шатровский плащ, широкий, зеленого цвета. Я его так ни разу и не надел. Вроде цел он. Да, висит, все же память о прошлом, в шкафу, у меня в Коктебеле.

Сам я сделал немало достойных публикаций стихов Шатрова.

Это, в общей сложности, целая книга, очень хорошая.

Но Маргарита мои старания не оценила.

Похоже на то, что она, вдова-королева в короне, так толком и не поняла за все прошедшие годы, что некоторая часть наследия литературного ее покойного мужа с трудом, но все-таки издана.

Шатровская дочь Лелиана вовсе не Маргаритина, хрупкая, как Офелия, с виду — белая лилия, лунною ночью расцветшая в тиши, давно умерла.

Сын шатровский Орфей тоже не Маргаритин, живет, насколько я помню, в Калуге. Я видел его. Он очень похож на Шатрова.

На могиле Шатрова я не был.

Был ли кто-нибудь там, вообще?

Как найти ее, если нет опознавательных знаков?

Стоять у могилы Берзина и думать, что там, где-то сбоку, с краешку, нелегально, лежит Николай Шатров — или, верней, его прах?

Мистика, да и только.

Бред. Видения. Знаки.

В небе — лунная долька.

В почве — пепел и злаки.

В песнях — доля и воля.

В жизни — любовь и вера.

Звезды. Кристаллы соли.

Символы да химеры.

И все это сам Шатров — при жизни еще, провидчески, в стихах своих, и особенно в стихах своих лет последних — давно уже предсказал.

Был — настоящим поэтом.

Жил — несладко, несладно.

В речи своей — остался.

И время его — впереди.

К СМОГУ — имел отношение.

Не все принимал — у Губанова.

Ко мне относился — с восторгом.

Да вот не успели мы с ним подружиться. Такая судьба.

Я еще расскажу о Шатрове. Не все ведь сразу. Согласны? Он еще придет в мои книги. Да и к вам он придет. Стихами.

Вечер. Молодость я вспоминаю. Тот октябрь, где листья слетали и под солнцем теплым горели золотистыми ворохами...

* * *

В сентябре шестьдесят четвертого года, Драконьего, щедрого на события разномастные, непрерывно, сплошной чередой, догоняющие, сменяющие, настигающие друг друга, чтобы, сжавшись в общий клубок, в некий узел, морской ли, мирской ли, неизвестно, в энергетический, раскаленный, сияющий шар, вновь разжаться, с пружинистой силою, завитком спирали незримой, вмиг раскрыться цветастым веером удивительных совпадений и негаданных происшествий, сплошь и рядом идущих об руку с постигаемой не по книгам, но вплотную, слишком уж близко, чтоб не видеть ее воочию, чтоб надолго, нет, навсегда не запомнить ее, таинственной и простой, как и все хорошее и достойное в мире этом, без придумок ненужных, без баек непотребных, со слов чужих, лишь своей, а не чьей-нибудь, кровной, личной сызмала яви, ехал я на встречу с поэтом, широко известным в столичной многолюдной среде богемной, из отчаянных удальцов и героев, из общих любимцев, из птенцов, едва оперившихся, но уже подающих голос, из отъявленных сорванцов, из талантов, для всех очевидных, из певцов, молодых да ранних, так поющих, что их не заметить невозможно, и впрямь хороши, да и редкость это большая, уж тем более в наше время, не принять их нельзя, с приязнью и с восторгом, не полюбить, ведь богема на то и богема, чтоб уметь себя ублажать, чтоб уметь выделять своих приглянувшихся ей не случайно и вписавшихся с ходу в нее, бравых, в доску своих парней, с перспективой необычайной на потом, — с Леонидом Губановым.

Восемнадцатилетний, всего-то, подчеркну это снова, сознательно, чтобы видеть давнишний свой возраст с башни многих прожитых лет (восемнадцатилетний, уже, Боже мой, как летит мое время, вырывалось невольно встарь), — я давно ощущал себя взрослым.

Поколение послевоенное мое, все разом, без лишней рефлексии, без промежуточного топтания, так, для порядка, на месте, чтобы подумать о чем-то сугубо практическом, полезном, трезвом и здоровом, с точки зрения наших родителей или школьных учителей, как-то слишком уж быстро, без всяких колебаний, сомнений, прикидок, размышлений невразумительных, стремительно повзрослело, и уступать завоеванные, с бою, с ходу, с налету, позиции нам и в голову не приходило.

Мы старались избавиться всячески, любым из возможных способов, от опеки ненужной над нами, от назойливого надзора, от всего, что явно папахивало заурядностью и обыденщиной.

Наставления и советы воспринимались в полной готовности отразить их, в сражение, в атаке, в штыки, посмелее, и лишь отчасти усваивались, осмысливались нами как нечто не очень-то приятное, исходящее из той бытовой обязательности, той приглаженной и прилизанной, ненавистной нам положительности, той советской, всем понемногу, и достаточно, уравниловки, под присмотром и под контролем наблюдающих за порядком повсеместным в державе нашей неусыпно и неустанно, днем и ночью, почти незримых, нелюбимых, необходимых и всеильных каких-то вроде бы, говорили с опаской, органов или, может, властей кремлевских, потому что не знали толком, где там органы, где там власти, что за органы, что за власти, что за птицы и что за страсти, кто их, в общем-то, разберет, если знают все наперед, в светлом будущем обещают оказаться в кратчайший срок, но читают все между строк, да еще голоса вещают зарубежные обо всем, что в стране у нас происходит, и тоска на людей находит, и с надеждой сплошной облом, говорят, не верь, не проси, что за мрак такой на Руси, что за ужас во все Союзе, поверять остается музе настроенья свои, уравниловки мы чурались,

нивелировки, стрижки всех под одну гребенку, строевой, командной послушности, шаг назад, шаг вперед, на месте, вправо, влево, стой, запевай, поднимайся, в ружье, на службу, в пятилетку, на стройку, к станкам, в шахты, в лифты, в тайгу, к облакам, глубже, выше, смелей и так далее, от нелепой и неизбежной жизни в обществе долгой лжи, с малых лет до седых волос, и мещанской благопристойности, от которых мы, как умели, отбояривались, отмахивались, да и просто бежали — прочь из чуждой духу желанного, блаженного свободомыслия, ненавистной, обрыдлой нам канцелярской, казенной системы.

Конечно, был я тогда очень молод, слишком уж молод.

Но я, сколько помню себя, всегда, по чутью, тянулся к тем, кто были старше меня и могли открыть мне однажды что-то важное для души, что-то новое, прежде неизвестное.

Добрых три года я мыслил самостоятельно, сам принимал решения и совершал поступки, многие из которых и теперь, посреди междувременья, представляются мне достойными, а порою даже значительными.

Разумеется, было немало промахов и ошибок, огорчений, разуверений, нелепостей всяких досадных, но возраст мой был таков, что при отсутствии полном учителей и наставников я вынужден был искать и сам находить всегда то, к чему влекло меня сызмала романтически бурное, грозное, иногда не на шутку опасное, но зато упоительно вольное, без оков, течение жизни, как мне думается, действительно удивительной и прекрасной.

Было мне от роду братцы, не просто еще восемнадцать, но уже восемнадцать лет и семь дополнительных месяцев.

Тогда и эти, наперечет, месяцы очень любили счет и тоже имели значение.

По причине быстрого, слишком или в меру, кто как считал, на авось полагаясь, взросления.

Тогда я уже добился поставленной загодя цели и поступил учиться на престижное, элитарное, ну, слегка, по сравнению с прочими, уж во всяком случае стоящее и достойное отделение истории и теории искусств, это было главным, что меня привело туда, исторического факультета серьезного заведения учебного, МГУ.

То есть стал, по-студенчески, вольно, по-богемному, безалаберно, по-хорошему, по-человечески, замечательно, жить в Москве.

Парижа, как я всегда в книгах своих подчеркиваю, у нас, к сожалению, не было, а вот Москва, распрекрасная столица странноприимная, по счастью, у нас была.

И она звала, отовсюду, из различных мест многоверстной, многозвездной нашей страны, и тянула к себе столь властно, что противиться ей, столице, было всем нам уже невозможно, и она собирала вместе нас, вчерашних провинциалов, постепенно и неуклонно становящихся москвичами, привыкающих здесь обитать и работать, по-своему каждый.

Отовсюду в Москву съезжались люди творческие, азартные, для которых не подходили никакие мерки стандартные, те, которым хотелось общения настоящего и внимания, те, которые были отважны и к невзгодам готовы заранее.

И Москва принимала — всех.

И спасала — всех, без разбора.

Был возможен в грядущем — успех.

Он придет ли? Пожалуй, не скоро.

А пока что — пиши, поэт!

А пока что — рисуй, художник!

Вот он, ясный вечерний свет.

Вот он, тихий осенний дождик.
Все — для вас. Для таких, как вы.
Все — для творчества. Для открытий.
Для незримых духовных нитей.
В этом — самая суть Москвы.

Я жил, как уже рассказывал выше, на Автозаводской улице, в старом, крепком, невысоком, с толстыми стенами и большими окнами, доме довоенной добротной постройки, отдаленно напоминающем упрощенный конструктивизм.

В обжитой коммунальной квартире у меня была, пусть и временная, ненадолго, да все же своя, так хотелось мне думать, комната. Принадлежала она симпатичной московской теще генерала с необозримыми перспективами и возможностями, наперед, на потом, Ивана Александровича Герасимова, начальника криворожского гарнизона, фронтовика, человека закваски крепкой, волевого, честолюбивого и способного на решительные, непредвиденные поступки, что сказалось несколько позже, когда он помог мне в беде, и отца моего приветливого одноклассника Саши Герасимова.

Был в квартире и телефон, правда, общий, но все-таки был, и его наличие радовало, а случалось, и выручало. Были, разумеется, ванная, просторная общая кухня.

Но главное в этом роскошестве — была у меня своя комната.

Почему-то приятно теперь мне о давнишнем пристанище этом, с добрым чувством, порой вспоминать.

Я учился в университете — и гордился этим. Студент!

Я уже ощущал себя москвичом — и это вот было, зачем такое скрывать, приятное ощущение.

И вот сегодня, сентябрьской порою, в час предвечерья, мне, москвичу новоявленному, надо было ехать на встречу с незнакомым пока что, хорошим, наверное, человеком.

Я набросил свой синий плащ, байроновский, романтический, как хотелось мне искренне верить или, проще, вообразить, на плечо закинул ремень потертой легонькой сумки, закрыл за собой поплотнее скрипучую дверь квартиры, быстро сбежал по ступенькам пропахшей всеми возможными, коммунальными, стойкими, запахами, щербатой лестнице вниз и вышел из темноватого подъезда в просторный двор, заросший большими, старыми, устойчивыми деревьями.

Прошел мимо нашей булочной, мимо стеклянной витрины гастронома, вдоль узкого сквера, к перекрестку, затем перешел дорогу и, торопясь, зашел наконец в метро.

Там, бросив пятак свой звякнувший в щелку пропускника, я спустился на эскалаторе к платформе, миг заскочил в вагон как раз подошедшего, сверкнувшего стеклами поезда и поехал в сторону центра.

Встречи тогда назначались нашей богемной братией в четырех привычных местах: у памятника, с фонарями и цепями чугунными, Пушкину, у памятника Маяковскому, на углу в столице известного всем и каждому «Националя» и в уютном университетском дворе, со скамейками вдоль старой высокой ограды, с деревьями, со студентами оживленными, на Моховой, именуемом «психодромом».

Недавно сказал мне поэт, знаток московской богемной жизни, Саша Юдахин:

— С тобой, представь себе, хочет познакомиться Леня Губанов.

Я, хоть и слышал уже, конечно, о нем, нарочно, удивляясь вроде такой информации, поднял брови:

— Кто это? Не припомню.

Юдахин сознательно выдержал небольшую, но, по его мнению, по-актерски эффектную, видимо, паузу и только тогда уж сказал:

— Самый талантливый, так считают разные люди, поэт молодой в Москве.

— Ну, это мы еще посмотрим, кто же в Москве талантливее! — мгновенноотреагировал я.

— Нет, я ведь не утверждаю, говоря о Лене, что он талантливее тебя, — поправился тут же Юдахин. — Сам ты очень талантливый. Но ты-то в Москве недавно совсем. А Леня москвич. Его уже знают здесь.

— И меня уже знают здесь, — сказал, сощурившись, я.

— Вы оба самые-самые талантливые в Москве, — обобщил, улыбаясь, Юдахин. — Я уже рассказывал Лене о тебе. И другие ребята ему о тебе говорили. Он хочет с тобой повидаться. Давай я вас познакомлю.

— Хорошо, — сказал я, — знакомь.

— Я тебе скоро, Володя, позвоню, — подытожил Саша. — Как только договорюсь с Леной о вашей встрече, так сразу и позвоню. Жди моего звонка.

И вот, через день буквально, Юдахин мне позвонил:

— Договорился. Где встречаемся? Прямо сегодня.

— Лучше всего — у памятника Пушкину. Так привычнее, — без раздумий ответил я.

— Когда? Говори конкретно.

— Вечером, в семь.

— Идет.

Пришлось, ничего не поделаешь, мне собираться и ехать.

Кто такой Саша Юдахин — объяснять никому не надо. Поэт. Человек общительный. Дружелюбный ко всем, улыбчивый. Рослый. Спортивный. Свой парень, во многих кругах и компаниях. Энергии в нем предостаточно. Все его знают — и он всех поголовно знает. Он в облаках не витает. Он трезв — и восторжен: публично. Все складывается отлично. Публикации. Выступления. Путешествия. Впечатления. На коне он, это заметно. Потому и смотрит победно. Между тем он раним по-своему. Реагирует на обиды. Но — защитное что-то усвоено. И — привык не показывать виду. И когда-то, в года молодые, то же самое было. Всегда. Все с него, словно с гуся вода? Вопросенья, тире, запятые, восклицанья. Судьба — впереди? Биография — ежеминутно? Что потом? Предсказать это трудно. Что за боль возникает в груди? Стихи его помню, задорные, из давних шестидесятых: «Я буду, мы будем выигрывать секунды, секунды, секунды!» — в молодежном гвардейском журнале, — в тему, блин, как теперь говорят. А вот это нигде в печати почему-то я не встречал: «У реки берега — будто два утюга». Наверное, самиздатовское.

В центре столицы я вышел из метро и пешком поднялся вверх по улице Горького к Пушкинской, к месту встречи грядущей, площади.

Пришел я туда ровно в семь часов, ни минутой позже, как мы и договаривались.

Возле памятника, опекушинской вдохновенной работы, Пушкину — меня, пришедшего вовремя, уже, с нетерпением, ждали.

Словно из-под склоненной в задумчивости головы Александра Сергеевича, из осеннего воздуха вышли и двинулись прямо ко мне две фигуры, одна высокая, и это был Саша Юдахин, а другая значительно меньше ростом, так, небольшая совсем.

— Вот вы, ребята, и встретились! — торжественно произнес Юдахин. Потом продолжил: — Познакомьтесь. Леня Губанов! — представил он, с видом солидного, в по-

литике поднаторевшего, со стажем большим, дипломата, этого невысокого, хмурого паренька. — Володя Алейников! — с пафосом, достойным ораторов греческих, представил меня он ему.

Поздоровались мы с Губановым.

Руки друг другу пожали.

Стоим себе — с Пушкиным рядом.

Смотрим один на другого.

И почему-то молчим.

— Ну, вот вы, ребята, друг с другом наконец-то и познакомились. Надеюсь, что скоро подружитесь. А мне пора уходить, — сказал, что-то вдруг негаданно сообразив, Юдахин. — Дела у меня. Увидимся!

И он, кивнув на прощание нам обоим, исчез в толпе.

В те времена москвичи и приезжие вечерами любили гулять по столице. В центре всегда былолюдно.

И раствориться надолго меж людей было вовсе не трудно.

Мы с Губановым, возле Пушкина, под склоненной к нам головою поэта, в шелесте листьев и отцветах загоравшихся все гуще окрестных огней, стояли друг против друга и продолжали молчать.

Это напоминало, наверное, первую встречу доселе еще не видавших друг друга, воочию, рядом, двух молодых, да ранних, конкурирующих меж собою, на войне и в мирное время, все едино для них, полководцев.

Этакий бука-подросток, с челочкой, коренастенький, сероглазый, в распахнутой курточке, в мятых брюках, в нечищенных туфлях, придирчиво, исподлобья, с прищуром, смотрел на меня.

На него я смотрел спокойно, без нервов. Подумаешь, фрукт! Ничего, погодим, пождем, что последует за молчанием.

Что он там башкой своей с челочкой кривоватой небось надумал?

Явно ведь собирается что-нибудь взять да и выкинуть.

Видно по физиономии — вся уже напряглась.

Ладно, переживем. И не таких видали.

Вдруг Леня, скривив по-детски влажные, пухлые губы в язвительной, скользкой улыбочке, вновь, будто мы с ним до этого вовсе и не здоровались, протянул мне руку и тоном официальным, холодным, с осознанием собственной значимости, отчетливо, жестко изрек:

— Леонид Георгиевич Губанов.

— Владимир Дмитриевич Алейников, — мгновенно парировал я и крепко пожал его руку.

Леня с вызовом откровенным посмотрел в упор на меня — и опять протянул мне руку. И сказал, меняя подход, нараспев:

— Леонид Губанов.

— Владимир Алейников, — твердо, без эмоций, ответил я.

Леня этак хитро сощурился на меня — и еще разок протянул мне зачем-то руку. И сказал с хрипотцой:

— Леонид.

— Владимир, — сказал я спокойно, понимая, что это игра.

Губанов уже с любопытством посмотрел на меня — и вновь протянул мне руку свою, с длинными, гибкими пальцами, с грязными, как у школьника хулиганистого, запущенными, нестриженными ногтями, сказав дружелюбно:

— Леня.

- Володя, — сказал я приветливо и взглянул ему прямо в глаза.
Губанов так широко, что шире некуда просто, улыбнулся, преображаясь, хорошея, меняясь к лучшему, и уже панибратским тоном, все приколы отбросив, сказал:
- Старик! Давай будем на «ты»!
 - Давай! — согласился я.
 - Слушай, а я давно про тебя, между прочим, знаю! — тут же сказал мне Губанов.
 - И я про тебя, представь себе, знаю! — сказал ему я.
 - Ты ведь в Москву с Украины приехал? — спросил Губанов.
 - Из Кривого Рога.
 - Откуда?
 - Из Кривого Рога. Такой город есть в наших южных степях. Там я вырос.
 - Теперь понятно.
 - Что понятно?
 - Там твоя родина.
 - Посмотрите, какой догадливый! Ну, а ты-то москвич?
 - Москвич.
 - Сразу видно.
 - Что тебе видно?
 - То, что ты коренной москвич.
 - Ты где-нибудь учишься?
 - Да. Учусь.
 - А где?
 - В МГУ.
 - А я чихал на учебу. Я и среднюю школу, всего-то, не закончил! Бросил, и все.
 - Почему?
 - Так. Долго рассказывать.
 - Ну, как хочешь.
 - Потом скажу.
 - Сам решай, как тебе поступать.
 - Володя! — сказал Губанов. Говор был у него московский, акающий, певучий. Он произносил: Ва-а-лодя. — А я про тебя еще прошлой осенью слышал.
 - Неужели правда? — невольно удивился словам его я.
 - Ну да! Ты же здесь, в Москве, жил прошлой осенью, долго?
 - Конечно, — сказал я, — жил.
 - Ну вот. Мне ребята из разных наших литобъединений говорили, что появился новый талант. Это ты.
 - Надо же, как бывает! — сказал я. — А о тебе я только сейчас, в сентябре, от знакомых, впервые услышал.
 - Почитаешь стихи? — спросил меня, в лоб, напрямую, Губанов.
 - Можно, — сказал я. — Но где?
 - Пойдем хоть куда-нибудь. Куда — все равно.
 - Пойдем.
- И мы с Губановым двинулись вместе по улице Горького, в сторону Маяковки.

Оказался Леня Губанов — парнем, времени зря не теряющим.

После того, когда мы, разговаривая, миновали пустоватую, без поэтов, там читавших стихи свои толпам слушателей, отовсюду, на чей-нибудь голос громкий, собиравшихся неизменно, чтобы в действе участвовать, площадь Маяковского, Леня вдруг предложил мне с места в карьер:

- Слушай, давай дружить!

— Давай! — согласился я.

Приближались мы к Белорусской.

Леня вновь ко мне с предложением:

— Слушай, давай-ка выпьем!

— Давай! — согласился я.

Мы зашли в гастроном какой-то.

Наскрести еле-еле денег на одну бутылку портвейна. Бутылку я положил, для спокойствия, в сумку свою.

Двинулись — вместе — дальше.

Шли по вечерней улице куда-то — и разговаривали.

И оба уже понимали, что друг с другом нам — очень даже интересно, так вот, свободно, слово за слово, непринужденно, как старинным знакомым, с приятностью не случайной, с доверием полным к собеседнику, к новому другу, на пути, неизвестно куда, непонятно зачем, протянувшимся перед нами, куда-то за грань постижения, говорить.

Мы прошли грохочущий мост за Белорусским вокзалом и находились уже где-то возле улицы Правды.

Не мешало бы нам и выпить, раз вино у нас есть с собой.

Мы свернули вдвоем с тротуара в непомерно просторные, как-то буржуазно, не посоветски, расположенные, без всякой экономии места, на скудной, но и ценной столичной земле, за большими, просто громадными, вроде каменных сундуков, заселенными впрок, под завязку, москвичами, глухими домами.

Там зашли почему-то в подъезд.

Открыли бутылку портвейна.

Выпили оба, по очереди, вдумчиво, прямо из горлышка.

— Хорошо пошло! — дал оценку действию, с видом бывалым, Губанов.

— Нормально! — сказал я, без всяких славословий. — Вино как вино.

В подъезде было темно и подозрительно тихо.

Мы закурили. Присели рядышком на ступеньки.

— Тяпнем еще! Давай! — предложил, поразмыслив, Леня.

— Пожалуй, можно! — прислушиваясь к тишине, согласился я с ним.

Снова глотнули по очереди из горлышка. Закурили.

В бутылке нашей вина, мерзкого, надо заметить, и на вкус, и на цвет, и на запах, содержащего нужные градусы для советских людей напитка, оставалось уже маловато, в аккурат по третьему разу приложиться, и дело с концом.

(Я заметил сразу, что выпитое в смехотворных дозах вино Леню явно взвинтило. Нет, изменило. Стал он каким-то непривычно, страдальчески нервным. Беспокойным. Словно вдали, впереди, ждало его нечто, с чем бороться не в силах он был. Покориться же этому — все же не желал. Примириться с ним — тоже. Притворяться, кривляться — негоже. Этот страх и манил, и губил. Движения — резкие, дерганые.

Паяц? Юродивый? Мим?

В голосе хриповатом — новые, незнакомые, вибрирующие, зудящие, сверлящие изнутри горло, солоноватые, с привкусом горьким, нотки.

Зрачки разрослись, расширились до пугающей черноты.

Это было заметно вблизи даже здесь, в полутемном подъезде.

Тогда я еще не знал, что сколько бы там вина, пускай хоть совсем немного, не говоря уж о водке, ни выпил бы он, алкоголь действовал на него как наркотик, и это сказывалось, мгновенно, закономерно, с убийственным постоянством, всякий раз, на его поведении, нередко, почти всегда, приводя к печальным последствиям.

Но вскоре уже, к сожалению, пришлось мне об этом узнать.)

Леня меж тем, не забыв об основном своем желании, попросил меня:

- Почитай, Володя, стихи!
- А ты? — спросил я его.
- Я потом. Сразу после тебя.
- Хорошо! — согласился я.

Не больно-то подходящим для чтения наших стихов местом был этот темный, пустой, незнакомый подъезд, но выбирать было не из чего.

Я начал читать свои стихи тогдашние — новые для меня в ту сентябрьскую пору, недавно совсем написанные, начал читать их Лене — и незаметно увлекся.

Губанов слушал меня с таким напряжением страшным во всем его крепком теле и с таким вниманием острым на бледном его лице, с таким нутряным, наружу рвущимся, жгучим огнем в чернеющих непоправимо расширенными зрачками, как-то чутко и слишком пристально распахнутых на меня, из-под скомканной челки, глазах, что почему-то стало мне за него тревожно.

Я прочитал всего-то несколько свежих вещей.

И читал-то негромко, да только случилось, конечно, то, что я предвидел заранее.

На звук моего негромкого, но кем-то все же услышанного сквозь массивные стены голоса с треском открылась дверь одной из ближайших квартир — и оттуда с негодованием вывалились в подъезд разъяренные жители дома:

— А ну прекратите шум!

Тотчас же вслед за первой открылась, под крики граждан чумных, и соседняя дверь:

— Безобразие! Хулиганство! Милицию надо вызвать!

Губанов сорвался с места и, подергиваясь, заорал на возмущенных граждан:

— С...! Слушать стихи гениальные не мешайте! А ну заткнитесь!

— Леня, тише. Кричать перестань. Пойдем! — я силком еле вытащил его из подъезда во двор.

Вслед нам бурной лавиной неслись оголтелые вопли жильцов.

Кое-как увел я Губанова в темноту, в глубину двора.

Его буквально трясло.

Никак он не мог успокоиться.

Все твердил:

— Помешали, гады!

— Тише, Леня, — сказал я. — Молчи. А то жильцы, чего доброго, милицию запросто вызовут. Нам это ни к чему. Все, успокойся. Быстрее уходим отсюда. Вперед!

Мы двинулись наугад куда-то, лишь бы уйти подальше да поскорее из опасного места, свернули в ближайшую арку и выбрались в соседний безлюдный двор.

— Есть вино? — спросил у меня, шевеля бровями, Губанов.

— Есть еще, — показал я бутылку.

— Выпьем?

— Выпьем!

— Давай?

— Давай.

Мы приложились к бутылке уже по третьему разу.

Больше, при всем желании возможном, пить было нечего.

Губанов, чиркая спичками, ломая их то и дело, жадно, словно дорвавшись наконец-то до сигареты, по-блатному как-то, ухватисто, заковыристо, закурил.

Потом посмотрел мне в глаза и убежденно сказал:
— Ты гениальный поэт!
— Ладно уж, Леня, — сказал я. — Ты прямо как император всероссийский, титулы всякие играючи раздаешь.
— Ты гений! — с пафосом явным сказал Губанов. — Я знаю.
Ну что за категоричность?
Откуда? Зачем? Почему?
Простецкая непривычность?
Нервичность? В толк не возьму.
Вот уж, право, замашки богемные.
(Похожие на дворовые.)
Столичные? Или туземные?
Во всяком случае — новые.
Звук, превращенный в знак.
Я сказал:
— Хорошо, если так.

Губанов, пожившись, выпустил сигаретный белесый дым из обеих ноздрей, затем, исподлобья, с прищуром стрелецким, с молодецким, зубастым вызовом, с вопросительным знаком, вместе с восклицательным, в серых глазах, взглянул на меня и спросил:

— Можно, я теперь почитаю?
— Читай! — согласился я.

Здесь же, в бездне столичного вечера, во дворе на улице Правды, стал он, заметно волнуясь, читать мне свои стихи.

И честно, как и когда-то в прошлом, вновь сознаюсь: поначалу эти стихи не очень-то мне понравились.

Длинные. Даже слишком. Неровные. Грубоватые.

То несколько строчек искорками вспыхнут среди сумбура, то снова гул хаотичный, досадный, а то и провал.

Человек-то явно талантливый, даже очень, это уж точно.

И тон у стихов особый.

И лицо есть свое. И голос.

Да, собственно, все в них — его, не чье-нибудь там, а губановское.

Но что же меня останавливает?

Что мешает их сразу принять?

Непохожесть их очевидная на то, что сам я писал?

Так она и должна ведь быть, эта самая непохожесть. Грубоватость их? Ну и что!

Нет, не знаю. Пока — не знаю.

Но что-то мешает мне принять их безоговорочно.

И ничего, пока что, видать, не поделаешь с этим.

Губанов это заметил.

Чутье у него, врожденное, импульсивное, обостренное, на все вообще вокруг, сразу, оптом, было отменным.

Да и реакция тоже, на любое движение извне.

И тем более, разумеется, — на то, как люди, которым доверился вроде бы он, раскрылся, пускай и на время, перед ними, воспринимают в основном по традиции, с голоса, не с листа ведь, это не к месту и не к спеху, его стихи.

Обо всем этом я узнал не тогда, но уже очень скоро.

Он, покашляв незнамо зачем и смутившись, прервал свое чтение.

— Потом прочитаю. Успеется. Ладно? В другой раз.

— Как знаешь! — сказал ему я.

Да, задело, конечно, Губанова то, что я, новый друг его и соратник вполне реальный, точно так же, как сам он, признанный половиной Москвы, недавно, да буквально только что, ну, полчаса каких-то назад, почему-то сразу не выразил ни эмоций своих, ни восторгов, не назвал его с ходу гением, как в богеме всегда называли, не признал его безоговорочно.

Это чувствовалось, я видел, в том, как вел он себя тогда. Нахохлился весь. Насупился.

Шел, руки в карманы, вразвалочку.

Головой, кручуньясь, покачивал молчаливо. А то и вздыхал.

Потом он сумел собраться.

У нас опять завязался простейший, так, между прочим, по пустякам, на ходу, но все-таки разговор.

Мы с Губановым, разговаривая, шли сквозь осень, сквозь шелест лиственный, сквозь огни столичные, вместе, шаг за шагом, слово за словом, напрямик, в разверстую даль.

Добрались до метро «Динамо».

— Так мы и до меня дотопаем! — Леня сощурился, закуривая. Сквозь дымок сигаретный продолжил фразу: — Я-то на Аэропорте живу. Родители дома. Думаю, не помешают. Может, зайдем ко мне? Потолкуем. Чайку попьем. Ты не переживай. К себе добраться успеешь. Дом наш — неподалеку от метро. Каких-нибудь пять, ну, может быть, десять минут неторопливой ходьбы — и ты на метро успеешь до закрытия. Ну, зайдем?

Я взглянул на свои часы — и сразу же спохватился:

— Нет. Мне домой пора. Завтра с утра — занятия.

— Понимаю! — сказал Губанов.

Мы стояли с ним возле метро. Стояли, два парня, один — повыше ростом, другой — пониже. Поэты. Надо же! Молодые совсем. Познакомились. Подружиться в дальнейшем — удастся ли? Поживем — увидим. Посмотрим. Все возможно. Ведь невозможное, как сказал не случайно Блок в озаренье, тоже возможно. Невозможно-го в мире нет. Есть — сквозь тьму приходящий свет.

Поздний сентябрьский вечер, с его лиловато-черным, плотным куполом неба и желтыми, золотистыми, звездчатыми, узорными, широкими всплесками листьев на всех окрестных деревьях, обволакивал нас прохладой.

Пора было нам расставаться.

Мы с Губановым обменялись телефонами и адресами, тут же, на месте, вписав их в свои записные книжки.

Губанов, похоже, маялся.

Моя — совсем ведь недавно и, главное, так неожиданно — реакция на его стихи, которые всем в Москве, кого ни возьми, ни припомни, решительно всем, нравились, нет, какое там, вызывали восторг, восхищение, не давала ему покоя.

— Володя! — сказал он мне. — Давай-ка снова увидимся. Прямо завтра. Пойдем куда-нибудь. Пообщаемся. Что, лады?

— Завтра никак не могу, — сказал я. — Завтра я занят. А вот послезавтра — пожалуйста.

— Так можно приехать к тебе? — спросил, оживая, Губанов.

— Позвони мне вначале, заранее, обязательно. И приезжай. Днем лучше всего. Послезавтра.

— Договорились! — сказал, пожимая мне руку, Губанов.
Мы зашли в метро. Попрощались.
И разъехались в разные стороны.

Такова наша первая встреча.
Вроде рядом она — и далече.
Камертонная. Чистый звук.
(Время — птицей из наших рук.)
В недрах осени — добрый знак.
(Весь, как есть, вокруг — зодиак.)
Изначальная, беспечальная.
(Вряд ли будет потом — прощальная.)
Встреча — присказка. Встреча — быль.
(Над столицей — звездная пыль.)
Встреча — с речью. Запев. Пролог.
(Драмой будущей станет — СМОГ.)

Вскоре было у встречи нашей продолжение закономерное.

Судьба, видать, постаралась, распорядилась так, чтобы всенепременно, без лишней тяготины, без отговорок непотребных, без промедления несуразного и ненужного, только так и никак иначе, потому что нельзя по-другому поступить никому из нас, хоть и время есть про запас, чтоб к вискам не хлынула кровь, мы с Губановым встретились вновь.

...Через день позвонил Губанов.
— Старик! Володя! Привет! Как дела? Это я, Леня. Ну что, скажи, приезжать?
Я сказал ему:
— Приезжай!

Через час, не позже, Губанов появился в моей комнате.
Был он тих, отрешенно-задумчив.
Некий свет, непривычный, таинственный, проступал на его мальчишеском, чуть припухшем, бледном лице.

И глаза его — были грустными.

Напрямик, откровенно, сразу же, без ненужных ему предисловий, каким-то вмиг изменившимся, отчасти звонким, торжественным, отчасти не слишком уверенным, акающим по-московски, с хрипотцою дворовой голосом, но так доверительно, искренне, так просто и в то же время почти с надрывом, с душой, моляще, Губанов сказал:

— Я стихи написал. Почитаю. Послушай. Тебе посвящается.

Я смотрел на него — и видел в нем, пришедшем сюда, какую-то неизвестную мне, разительную внутреннюю перемену.

Что-то с ним, безусловно, произошло, непонятное, а может, и небывалое за то короткое время, покуда мы с ним не виделись.

Я сказал ему:

— Почитай!

И приготовился слушать.

Губанов одним рывком не встал, а взлетел с места.

Он стоял посреди моей коммунальной просторной комнаты.

Свет, прозрачный и золотистый, плавно льющийся из окошка, освещал его побелевшее, без единой кровинки, лицо.

Зрачки его снова расширились и стали угольно-черными.

Но не было в нем обычной, обостренной, нервической взвинченности.

Было — спокойствие. Странное.

Обреченное. Роковое.

Но — невиданно светлое. Тихое.

Величавое. Доброе. Чистое.

Не спокойствие даже, но — глубь, за которой встает благодать.

— Осень, — сказал он грустным, нежданно дрогнувшим голосом. И посмотрел мне в глаза. — Посвящается это Владимиру Алейникову. Моему — навсегда — закадычному другу.

Потом взглянул за окно, за которым стоял, как в сказке, с теремами своими воздушными, с облаками поодаль, сентябрь.

Сощурился вкось на свет.

И стал, волнуясь, читать:

— Здравствуй, осень, — нотный грот, желтый дом моей печали! Умер я — иди свечами. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осияют. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо головы в изразцовые коленца. Дайте капельку повить молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землей пусть горит мое окошко.

Губанов закончил читать — и опять посмотрел на меня.

Был услышанным я потрясен.

И тут же предчувствие страшное чего-то непоправимого, что непременно должно произойти с Губановым, резко жгло мне сердце.

Что это? Боже Ты мой!..

— Леня! — сказал я ему. — Поразительные стихи.

— Тебе понравилось? Правда? — просиял, расцветая, Губанов.

— Очень понравилось. Правда. Настоящие это стихи. Долговечные. Чувствую это. Понимаю. И очень твои, — сказал ему я уверенно, поскольку так и считал.

— Все я давным-давно, поверь, про себя знаю! — с горечью, с откровенностью, предельной и запредельной, вдруг вымолвил, словно выплеснул наболевшее что-то, Губанов. — Проживу я ровно, запомни, тридцать семь отпущенных мне лет. Умру в сентябре. Вот в этом стихотворении все про это и сказано.

— Господь с тобой, Леня! Ты что? — воскликнул я. — Что за страсти такие ты говоришь? Да живи ты еще сто лет! Зачем на себя самого ты каркаешь? Так нельзя. С такими вещами не шутят!

— Эх! — махнул Губанов рукой, как стрелец, идущий на плаху. — Со мной все давно уже ясно!.. Меня ты, не сомневайся, точно переживешь. Вспомни когда-нибудь, в будущем, когда не будет меня, этот день в сентябре. Все я знаю про себя наперед, все знаю...

Нелегко было мне, после всех этих Лениных откровений, сохранять, пусть и внешне, вынужденно, с беспокойством в душе, спокойствие.

Долго мы с ним тогда говорили.
За окошко смотрели. Курили.
Вечерело. Кружилась листва.
И росло — продолжение родства.
С тем, что есть. С тем, что будет потом.
С тем, что дремлет во сне золотом.
С тем, что явью издревле зовется.
С тем, что песней потом остается.
Песней — сказкой. Чья речь хороша.
Песней — былью. И песней — преданьем.
Песней — правью. И песней — страданьем.
Всем, с чем с детства сроднилась душа.

Он открылся мне искренне, весь.
Он пришел ко мне — сам. Выходит, надо было ему прийти не куда-нибудь, а сюда.
Он сказал мне тогда важнейшие для него, сокровенные вещи. И рад был, что я его лучше других понимаю.

Он читал мне свои стихи — и они открылись мне тоже, сами, причем по-иному, нежели день назад.

Я понял, насколько, при всех оговорках, они органичны.

Понял я, что принимать их следует мне такими, какими они явились в мир, который, при всей неразберихе своей, смешанной с красотой, как и поэзия, в нем живущая, был и есть.

Все, что необходимо, стихи эти сами скажут за себя, скажут, раньше ли, позже ли, но обязательно скажут.

И это его пронзительное, сквозь время ко всем обращенное:

— Государь! Не веди казнить! Веди слово молвить!..

И голос его, взволнованный.

И взгляд его, грустный, горестный.

И ясный свет в сентябре...

И хотя в шестьдесят четвертом даже до роковых тридцати семи лет жизни, на которые он сознательно закодировал сам себя, времени, для всего, что нужно человеку в молодости, казалось еще так много, его мне уже сейчас, немедля хотелось спасти.

Обреченность свою, в сознание намертво, прочно вошедшую, врезавшуюся в сердце, проникшую в душу, в кровь медленным ядом впитавшуюся, точно груз, непомерно тяжелый, от которого не отделаться просто так, ничего не выйдет, потому и тащи, терпи, надрывайся, брат, не пытайся даже в мыслях освободиться от навязанной, кем — неведомо и когда — неизвестно, жертвенной и мучительной этой ноши, от вериги этой чудовищной, он с собою всегда носил.

В свои восемнадцать — знал о себе он самое страшное.

И все-таки он — жил.

И — живущий — писал стихи.

Может, все еще обойдется?

Может, к лучшему все изменится?

Может, Бог его все-таки милует?

Что сказать? Не нужны здесь слова.

В этот день сентябрьский, с пронзающим ткань романтики прежней, с кружевом из наивности, как игла, диковатым пока что, но явным, даже больше того, неиз-

бежным ощущением грядущей драмы и трагедии, вслед за ней, началась моя дружба с Губановым.

Впереди была — осень. И все, что ждало меня в ней.
 Впереди была — молодость. Кто мне вернет ее ныне?
 Впереди было — все. Только лучшее. Как у России.
 Впереди были — годы, где речи пришлось выживать.

* * *

— Эй, борода!

Метель гуляла по всей округе, слепила глаза пронзительной, неистойвой белизной, заметала на фоне вечернего, темного, с белыми вспышками, завихрениями, зигзагами, кругами, спиралями неба затихшие, однообразные, то длинные, горизонтальные, то высокие, вроде башен, столичные, реже — кирпичные, чаще — блочные, густо стоящие на пути моем зимнем дома.

Я с трудом оглянулся — сквозь снег — на незнакомый голос.

(Был конец января. Среде скитаний, измотавших меня основательно, надоевших, — был мой день рождения. Тридцатилетие. То-то вспомнилось мне почему-то посвященное этой же дате особенное, открытое всему ранимому сердцу, и душе, и судьбе, и зрению, и памяти, миру земному и небесному стихотворение Дилана Томаса, только речь в нем была об осени валлийской, об октябре. Ну а мой день рождения был — бездомным, в московской, зимней круговерти. Куда деваться? И куда мне идти? Ночлега на ближайшее время не было. Ночевать в подъезде каком-нибудь, потеплее, снова придется? Да, наверное. А возможно, в чьей-нибудь мастерской подвальной, если будет радость такая. Пусть в подвале, но — не на улице. А на улицах, белых от снежной, налетевшей, метельной стихии, ветер дул, разгулявшийся так, что казалось, он не затихнет, ошалевший, уже никогда. Словом, зимней была погода. Не в укор это ей. Не оду сочиняю. Не без труда я наскреб какие-то деньги и купил на них сигареты, две бутылки сухого вина, подешевле, буханку хлеба. Денег еле хватило на это. Оставалось немного мелочи — на автобусы, на метро. Положив покупки в портфель, где лежали книги и рукописи, я побрел по холодной улице, наугад, куда-то вперед. Шел и шел. Впереди забрезжила, сквозь метель, поначалу Пушкинская с занесенным хлопьями снега, одиноко стоявшим памятником солнцу русской поэзии площадь. А потом, в просвете случайном посреди пелены снеговой, вдруг разорванной ветром, хлестким, ледяным, — Маяковская, дымная, в едкой мгле сизоватой, площадь.

Я подумал: пойду-ка к Нике Щербаковой. Идти недолго. Обогреюсь. И отдышусь. А потом — что-нибудь придумаю. Может быть, меня осенит — и ночлег найду, на сегодня, где-нибудь. Не ходить же мне бесконечно всюду по городу. Не стоять же мне на морозе и не мерзнуть. Вначале надо, разумеется, позвонить. Я нашел две копейки в кармане. И зашел в унылую будку, называвшуюся лаконично, выразительно, словно символ всеобщей связи мировой: телефон-автомат. Позвонил. Раздалась гудки. А потом я услышал — голос, бесконечно знакомый:

— Але!

Ну конечно же, Толя Зверев!

— Толя, здравствуй!

— Ты где, Володя? У тебя день рождения. Помнишь? Я у Ники. И жду тебя. Поскорей приезжай. Хорэ?

— Я поблизости, на Маяковке. Жди меня. Я скоро приду.

— Жду. Хорэ!

Положил я трубку.

И пошел сквозь метель, вдоль ограды занесенного снегом, безлюдного, словно в спячке, сада «Аквариум», а потом — мимо Малой Бронной, прямо к Никиному, желтеющему сквозь нахлесты снежные, дому.

Поднялся на верхний этаж. Позвонил. Дверь квартиры открылась. На пороге стоял улыбающийся Толя Зверев. С бутылкой в руке. Этикетка на этой бутылке говорила о многом: коньяк.

— Здравствуй, Толя!

— Здравствуй, Володя! Заходи.

Я зашел в квартиру. Было в ней непривычно тепло. Я, похоже, отвык от тепла. Ничего, теперь-то — согреюсь.

Вслед за Зверевым в коридоре появилась томная Ника:

— Я так рада! Здравствуй, Володя! Проходи скорее за стол.

— Здравствуй, Ника!

Зверев сказал мне хриповато:

— Пойдем, пойдем!

Сняв пальто, я зашел в просторную, сплошь завешанную картинами авангардными, с артистическим и с богемным уклоном комнату, очень теплую, где сидели за столом какие-то двое, незнакомые мне. Высокие. Чисто выбритые. В костюмах. Разумеется, оба — с галстуками. Только лица их — я не запомнил. Невозможно запомнить такие, без примет характерных, лица. И хотя они, церемонно и приветливо даже, представились, имена их, невыразительные, почему-то я не запомнил.

Я присел за стол. Толя Зверев мне налил стакан коньяка. А себе — половину стакана. Незнакомцы налили себе водки в маленькие, с наперсток, рюмки. Ника себе налила персональный бокал шампанского.

Толя Зверев сказал:

— У Володи — день рождения. Поздравляю. Ты, Алейников, — гениальный, я-то знаю, об этом, поэт. За тебя я сегодня пью. Будь. Живи. И пиши. Ну, выпьем!

Все сидящие за столом, на котором стояли скромное угощение и бутылки, с водкой, с винами и с шампанским, оживились — и тут же выпили.

Шло застолье. Царила здесь, как обычно, хозяйка — Ника.

Я согрелся. Коньяк ли зверевский или что-то еще подействовало — но действительно стало тепло мне, хорошо. И я закурил. Огляделся по сторонам. Да, салон известный московский. Вдосталь здесь побывало народу. Ника всех принимает охотно. Каждый день — все новые гости. Все привыкли к ней приходить. Как-никак, есть возможность общения. Для богемы у Ники — лафа. Выпить можно. И закусить. Посмотреть картины. Послушать иногда стихи. Поболтать — об искусстве, да и о прочем. Словом, дом для бессчетных встреч.

Незнакомцы с Никой о чем-то говорили. Довольно тихо. Я прислушиваться не стал. Если надо — пусть говорят.

Мы со Зверевым вышли в соседнюю, совершенно пустую комнату.

Зверев как-то весь посерьезнел, наклонился ко мне — и тихонько, еле слышно, сказал, нет, выдохнул напряженно:

— Она шпионка!

— Кто? — не понял я.

Зверев:

— Ника!

— Почему?

Зверев, твердо:

— Я знаю!

- Брось!
- Ей-богу! Она работает — ну, на этих, на кагэбэшников.
- Правда?
- Правда!
- Зачем же, Толя, мы с тобой находимся здесь?
- А куда нам с тобой деваться? Бог не выдаст, свинья не съест.

Стало как-то не по себе.

Я сказал:

- Может, выпьем снова? У меня есть в портфеле вино.
- Да оставь ты свое вино! Пригодится еще. Смотри! — Зверев вытащил из-за пазухи фляжку виски. — Давай — из горла!
- Что ж, давай!

Мы со Зверевым — выпили.

Между тем появились в комнате, где со Зверевым мы вдвоем разговаривали, отпивая по глоточку виски из горлышка, незнакомцы и Ника.

Сказала нежным голосом Ника:

— Мальчики! Нам пора. Вы поедете с нами? Едем мы — на такси. Подвезем вас куда-нибудь, в нужное место.

Я подумал: вечер уже. Подвезут куда-то — и ладно.

И сказал я Нике:

— Поедем. Где-нибудь по дороге сойду.

Зверев только взглянул на меня — и вздохнул. Ничего не сказал.

Собрались мы быстро. И вышли — прямо в вечер, в снега, в метель.

У подъезда стояло такси. Забрались мы вовнутрь. Поехали.

Толя Зверев — молчал. Я — молчал. Незнакомцы — молчали. Машина пробиралась сквозь снег, с трудом, осторожно. Молчала и Ника.

Так мы ехали долго — молча.

Я потер стекло запотевшее. Посмотрел — вроде что-то знакомое. Преображенская площадь.

Вдруг Зверев затрепетал, дверь рванул — и рывком, стремительно, выскочил из машины.

Я крикнул ему:

— Ты куда?

Он в ответ мне крикнул:

— Я к шурину!

И пропал. Растворился в метели.

Незнакомцы — молчали. Ника обратилась ко мне внезапно:

— А тебе, Володя, куда?

Я ответил ей:

— Здесь я выйду. Навещу-ка Оскара Рабина.

Незнакомцы — переглянулись.

Ника:

— Ладно. Привет Оскару. До свидания!

— До свидания!

Выбрался я — в метель. Машина — тут же уехала.

Постояв на заснеженной площади, я побрел потихоньку — к Рабину.

Оскар был тогда — под присмотром. Собирался он уезжать на Запад. Еще не уехал. Возле дома его, где жил он, на первом, таком доступном этаже постоянно дежурили какие-то наблюдатели.

Я все это — знал. И все же — не мерзнуть же мне в метели! Оскар — человек хороший, приветливый. Навешу его. Есть в портфеле моем вино. Обогреюсь. Выпьем немного. И, конечно, поговорим. Есть о чем ведь. А там — куда-нибудь доберусь еще. Ночевать где придется давно привык я. Надо сил хоть немного набраться. Успокоится. Вон как метет! Ну и снег! Настоящий, январский!..

Шел я к дому Оскара Рабина. Вот и дом. Длинный, блочный, скучный. И на первом — я вижу сразу же так отчетливо — этаже — теплым светом горит окно. Значит, дома Оскар. Прибавлю ходу. Ну, поскорее — к цели!..)

Голос сзади:

— Эй, борода!

Оглянулся я. Позади — обозначились две фигуры. Незнакомые люди. Высокие.

— Эй, ты слышишь? Куда идешь?

Отмахнулся я:

— Вам-то что? Ну, иду. К своему знакомому. Поточнее сказать? К художнику...

Это — все, что успел я сказать.

Сокрушительной силы удар — получил я в висок. И тут же рухнул в снег, потеряв сознание.

Сколько было потом ударов, как там били меня — не помню.

Да и как мне помнить об этом, если был я тогда без сознания?

Неужели настала — смерть?..

Я очнулся, когда — не знаю, где — не ведаю, в доме каком-то незнакомом, в гулком подъезде, вниз головой, на лестничном, пустом и холодном проеме.

Почему оказался я здесь?

Кто меня закинул сюда?

Ни портфеля, ни документов. Ничего нет. Карманы — вывернуты. Шапки — нет. Шарфа — тоже нет.

Боль была — действительно адской.

Голова моя — просто раскальвалась.

Все избитое тело — болело.

Надо было — как-то спастись.

Надо было — отсюда выбраться.

Я пополз, сквозь боль, по ступенькам.

Ниже, ниже. Еще немного.

Вот и дверь подъезда. Открыл ее. Удалось. Хотя и с усилием.

Выполз — в снег. В сугробы. Пополз — дальше. Встать — я не мог. Все — болело.

Полз я долго. Куда-то. Вперед. С передышками. Дальше и дальше. В снег. Сквозь снег. Сквозь метель. Сквозь ночь. К жизни. К людям. Упрямо. Сквозь боль.

Над моей головой разбитой, резко, с визгом, затормозив, остановилась какая-то машина. Шофер метнулся из машины — ко мне:

— Что с вами?

Говорить я не мог. Было больно.

Я с трудом прошептал:

— Избили...

— Может, вас отвезти куда-нибудь? Например, домой к вам. Поедем?

Дома не было у меня своего. И сказать об этом шоферу я стеснялся. Небось подумает: «Ишь, какой бездомный бродяга! Ну, избили его. По пьянке. Что ж, бывает. А я-то при чем?»

Наклонился шофер надо мной, стал меня поднимать:

— Вставайте! Потихоньку. Вам надо встать.

И в глазах его я увидел — и участие, и заботу, и немалое сострадание человеческое. И начал подниматься. Шофер помогал мне. Так на фронте, наверно, порой помогали друг другу солдаты.

И шофер меня снова спросил:

— Ну, куда вас везти? Говорите!

Говорить было трудно мне. Но сказал я шоферу:

— К Сапгиру!

— Что? Куда? — не понял шофер.

— Отвезите меня к Сапгиру!

— Вы бредите? Что за Сапгир? Кто же вас так избил?

— Не знаю... Сапгир — друг Рабина.

В моем сознании брезжило лишь это: Рабин — Сапгир.

— Довезу. Дорогу покажете?

— Постараюсь.

Шофер помог мне забраться в машину и лечь на боку на заднем сиденье.

Я сказал:

— Денег нет у меня.

— Да какие там деньги! — шофер отмахнулся. — Вам надо в больницу!

— Нет, к Сапгиру, — упрямылся я.

— Хорошо. Поедем к Сапгиру. Кто такой он?

— Поэт.

— Поэт? Ну а вы?

— Я тоже поэт.

Покачал головой шофер:

— И зачем же так бьют поэтов?

Я ответил ему:

— Не знаю...

Долго ехали мы. Я смотрел, временами с трудом, за окошко. Говорил: «Сюда...

Вот сюда...»

Наконец добрались мы до дома, где жил тогда Генрих Сапгир.

Я сказал шоферу:

— Спасибо!

Он ответил:

— Держитесь, поэт. Выздоровливайте скорее. Да, а как вас зовут?

— Владимир.

— А фамилия ваша?

— Алейников.

— Тот, из СМОГа?

— Именно тот.

— Был я как-то на вечере вашем. Лет, пожалуй, десять назад. Вы читали стихи.

Хорошие. Только были вы — без бороды, молодым совсем. А теперь — с бородой.

Я люблю стихи. Вы отличный поэт. Я помню кое-что. Ну хотя бы вот это, да, вот это:

«Когда в провинции...»

Я продолжил тогда:

— «Болеют...»

И шофер, вздохнув:

— «Тополя...»

Я махнул рукой:

— Это — старое...

А шофер сказал:
— Но живет!..
Он помог мне выбраться в ночь из машины. Пожал я руку моему спасителю. Он, помахав мне рукой, уехал.
Я стоял во дворе пустынном.
Слава богу, первый этаж. Высоко подниматься не надо.
Дверь в подъезд я открыл с трудом. Вот и дверь квартиры сапгировской. Поднапрягшись, я позвонил.
Дверь открылась. В проеме дверном появился Генрих Сапгир.
Он взглянул на меня — и глаза его переполнились явным ужасом.
— Генрих, здравствуй! — сказал я Сапгиру. — Помоги мне сейчас. Пожалуйста.
— Что с тобой? — воскликнул Сапгир. — Кто же так тебя страшно избил?
Я ответил ему:
— Не знаю. Обо всем — попозже, потом...
Генрих помог мне войти в квартиру. Но в комнаты я не пошел. Добрался до кухни.
И — рухнул там на пол, навзничь, потеряв сознание вновь.
Сколько так пролежал я — не помню.
Приоткрыл глаза. Посмотрел — да, похоже, утро. Светло.
Значит, жив я. Действительно, жив!
Раздались голоса. Знакомые. Генрих что-то там говорил обо мне с женой своей, Кирой.
Кира властно сказала Сапгиру:
— Дай Володе десятку, Генрих, на такси. И пусть он отсюда убирается поскорее!
Так. Понятно. Я лишний здесь.
Что возьмешь с нее? Это ведь — Кира. Наплевать ей, видимо, нынче на мое состояние. Надо подниматься. И встал я на ноги.
В кухню зашел с десяткой в руке смущенный Сапгир:
— Володя, вот — на такси.
— Все я слышал, — сказал я Сапгиру. — Не волнуйся. Скоро уеду.
Взял десятку. Сказал:
— Верну.
Отмахнулся Генрих:
— Не надо!
Я сказал:
— До свидания, Генрих! За приют, за помощь — спасибо. Постараюсь преодолеть наваждение это. Поеду. Где-нибудь, у кого-нибудь — отлежусь. Надеюсь, что примут.
И сказал мне Сапгир:
— Держись!
И ответил я:
— Буду держаться!
Дверь открылась. Я вышел — в снег.
И побрел — сквозь сугробы — вперед.
На такси кое-как доехал до знакомых. Там — отлежался. Правда, долго пришлось лежать. Сотрясение мозга — не шутка. Да еще такое, устроенное, безусловно, профессионально, без булды, со знанием дела. Должен был я боль — победить.
Победил. Отшумели метели.
Паспорт новый пришлось получать, вместо прежнего, что исчез вместе с рукописями моими, вместе с книгами, вместе с портфелем. Шапку — кто-то мне подарил. Шарф — нашел я прямо на улице. Голова — болела порой. Очень сильно. Бывали кризы. Поднималось давление так, что, бывало, хоть криком кричи. Все я вытерпел. Пре-

одолеет. Боль. И всю череду бездомниц. Все нелепости, наваждения прежних, сложных, суровых лет. И минувшей эпохи — нет. Есть — лишь память. И — жизнь. И — речь. Время — вправду материально. Потому что живет в нем — творчество. Может, жречество? Змееборчество. И — огни негасимых свеч.

* * *

...В середине семидесятых. Мы — в квартире зверевской, в Свиблове или в Гиблове, так его Толя называл обычно, и это подтвердилось: в этой квартире он потом, через годы, и умер. Или, может, погиб. Все могло с ним случиться. Ходил он по краю бездны некоей, хорохорился и бравировал этим, но знал, очевидно, всегда наперед, что с ним все-таки произойдет.

Мы — вдвоем. «Ты, Володя, с портфелем, и поэтому мне с тобой здесь, в Москве, намного спокойнее!» — приговаривал Зверев частенько. Я — бездомничал. Зверев — маялся, тяготился своим одиночеством, при его-то обширных знакомствах, находить-ся боялся один и на улицах, и в квартирах. Мы бродили вдвоем по Москве. Ночевали всегда — где придется. Там, где пустят нас на постой. Я — стихи читал. Он — рисовал. Отрабатывали ночлег. Утром — снова куда-то ехали или шли. И так — месяцами. И годами даже. Привык я к жизни трудной своей, кочевой. А вдвоем — веселее. Обоим. И спокойнее, это уж точно. Двое — сила. Десант. Отряд. Наша двоица, он — художник, я — поэт, надежной была. Мы дружили — как на войне. Шли геройски — сквозь все сражения. Фронт — повсюду был. Приходилось — воевать. Он — кистью, я — словом. К неприятностям быть готовым приходилось. К невзгодам. К бедам. И тянулся за нами следом приключений длиннющий шлейф, и событий, и происшествий непредвиденных. Но вдвоем было проще нам выстоять. Выжить.

Мы сидели в квартире зверевской, словно в крепости неприятельской. Зверев то к чему-то прислушивался, словно чуял близких врагов, то смотрел за окно. Из ванной доносился запах противный. Заглянул я туда. Увидел: ванна, доверху, вся, наполнена отмокающей в ней одеждой. Посмотрел я на Зверева. Он отмахнулся — мол, пусть, так надо.

Я достал из портфеля бутылку припасенного мною вина, половину буханки хлеба.

Зверев, жестом лукавого фокусника, тут же вынул откуда-то, может — из-за пазухи, может — из шкафа, ну а может — и прямо из воздуха, фляжку плоскую коньяка. И принес два граненых стакана. Постелил на столе газету. Положил на газету хлеб — нашу с ним и еду, и закуску. Коньяком наполнил стаканы, аккуратно, до половины. Мы степенно с ним чокнулись, выпили. Закусили хлебом. Потом — закурили, я — сигарету, он — сигару. Стало теплее. За окном — шел осенний дождь. Мы курили — и говорили. Для бесед неспешных всегда было тем у нас предостаточно.

Помню, речь шла о том, что осень скоро кончится. В этом Свиблове застревать надолго нельзя. Могут вдруг нагрянуть менты. Или кто-нибудь пострашнее. Надо было что-то придумать. Поискать понадежней пристанище. Оставаться здесь нам — опасно.

И спросил я тогда то ли Зверева, то ли, может, силы небесные:

— Что потом?

— А потом — зима! Снег выпал, а я взял и выпил! — Зверев шурился на меня, улыбаясь, хитрющий, веселый. Взял бумагу и акварель, набросал на листке кого-то с бордюром: — Вот Дед Мороз!

Я сказал ему:

— Да, похож.

Зверев быстро взглянул на меня. Набросал акварелью, быстро, мой портрет:

— Посмотри. Это — ты.

Я взглянул:

— Да, очень похож.

Со стола на мои коленки, покотившись, упал карандаш. Я успел его удержать, положил обратно на стол.

Были джинсы мои разорваны на коленках. И Зверев это — разглядел. Поднялся рывком. Распахнул обе дверцы шкафа. В нем висели костюмы, брюки, пиджаки, совершенно новые, заграничные сплошь. Гардероб у художника был солидным. Все — добротное, про запас, впрок. Потом, глядишь, пригодится.

Зверев краешком глаза взглянул на меня. Выбрал серые брюки. Протянул их мне:

— Вот надень. От Костаки. Английские. Крепкие. Подойдут как раз. Надевай, прямо сверху, на джинсы. Дарю.

Вышел я в коридор. Натянул эти брюки, прямо на джинсы. Возвратился, в обновке, в комнату:

— Ну, спасибо, Толя. Подходят.

Отмахнулся Зверев:

— Шмотья предостаточно у меня. За картинки мои даю. Я — беру. И ношу. Годидзе! А тебе теперь будет теплее. Вон какая погодка на улице! Так и хлещет холодный дождь.

За стеной раздалось какое-то подозрительное шурушание.

Зверев сразу насторожился:

— Надо сваливать. Поскорее!

Я спросил:

— Почему?

И Зверев мне ответил:

— Везде — враги!

Он достал из шкафа пальто заграничное — и надел его на себя, на грязный пиджак, заграничный. Достал ботинки, заграничные тоже, английские. Вмиг обулся. Захлопнул шкаф, на котором сверху лежали, громоздились, до потолка, вперемешку, его работы разных лет. Солидный резерв. На продажу. На всякий случай. Пригодятся небось потом.

Я набросил куртку:

— Пойдем. Но куда? На улице — дождь.

Зверев, кратко:

— Поедем к старухе.

Потихоньку, словно разведчики, два героя, в тылу врагов, пробрались мы с Толей из гиблого дома этого — прямо на улицу. Там хлестал разгулявшийся дождь.

Мы нашли телефон-автомат. Зверев в будку зашел. Позвонил. И сказал:

— Мы скоро приедем.

Я спросил:

— На метро поедем?

Зверев поднял бровь:

— На такси!

Сунул руку к себе за пазуху — и достал толстенную пачку четвертных, десятирублевых и пятерок. Сунул обратно, да поглубже. Заржал довольным. И торжественно:

— Деньги — есть!

Я пожал плечами. А Зверев ухмыльнулся:

— Хорэ, хорэ!

Впереди — огонек зеленый замаячил. В таком районе захудалом — и вот, пожалуйста, приближается к нам такси.

Зверев быстро махнул рукой. И машина — остановилась. Мы залезли вовнутрь. Поехали. На вопрос шофера: «Куда?» — Зверев кратко ответил:

— В центр!

(Старухой Зверев обычно называл Оксану Михайловну, вдову поэта Асеева, одну из сестер Синяковых, в которую был влюблен. Мы со Зверевым навещали иногда ее. Но обычно приезжал к ней Толя один. Дорожил он этой любовью. Необычной. Ведь все у него необычным было, особенным. И, конечно, его любовь. Была Оксана Михайловна старше Зверева лет на сорок. Но разве возраст — преграда для любви настоящей? Нет. Пять сестер Синяковых были знаменитыми. Встарь — дружили с футуристами. В Красной Поляне, что под Харьковом, в их имении, все когда-то и началось, там истоки всего авангарда, позже так набравшего силу, что питают его отголоски и доселе подлунный мир. Хлебников, показав на Оксану, сказал Асееву: «Вот твоя жена!» И Асеев на Оксане сразу женился. Жили супруги вместе почти половину столетия. Асеев умер. Оксану полюбил неумный Зверев. Началась такая любовь, что о ней вся Москва говорила. Зверев, пьяный, рвался в квартиру и выламывал дверь. Оксана вызывала ментов, причитая: «Дорогие милиционеры, вы не бейте его, пожалуйста, берегите руки его, я прошу, он великий художник!» Менты увозили Зверева — и, разумеется, били. Он опять приезжал к любимой. И она — впускала его. Рисовал он ее — непрерывно. Были сотни ее портретов, на которых Оксана сияла несравненной своей красотой. Толя Зверев о ней заботился. Он любил готовить. Однажды он сварил ей вкуснейший борщ. И сказал Оксане: «Поешь!» Почему-то она отказалась. Толя вылил кастрюлю горячего борща на Оксану. Потом взял свою любимую на руки — и понес ее в ванную, чтобы отмывать. И отмыл. И Оксана еще больше с тех пор любить стала Зверева. Он хранил у нее работы свои. Много папок. Оксана Михайловна продавала их постоянно и тем самым ему помогала. Продавала — по триста рублей. Вместо всем привычной тридцатки. И висели на стенах асеевской, в самом центре Москвы, квартиры изумительные портреты драгоценной зверевской женщины, златовласой Оксаны Михайловны. И любовь была небывалой, расцветающей всеми красками, пылкой, страстной, с криками, с драмами, с поцелуями и с объятиями, обоюдной, — такой и останется, полагаю, она — в веках.)

Мы приехали в центр. Пришли, оба — выпив слегка, но трезвые, по тогдашним нашим понятиям, в гости к зверевской даме сердца, драгоценной Оксане Михайловне. Поздоровались с ней. Она рада нам была. Пили чай. Говорили. Зверев смотрел на нее глазами влюбленными. А потом и сказал:

— Володе негде жить!

Всплеснула руками в тот же миг Оксана Михайловна:

— Как же так?

Зверев — ей:

— Он бездомничает.

— Ах! — сказала Оксана Михайловна. — Что же раньше вы мне не сказали? Почему вы, Володя, стесняетесь? Вы такой хороший поэт. И, выходит, вам негде жить?

Я сказал:

— Да, так получилось.

Зверев буркнул:

— Володя — гений! Как и я. Мы с ним оба — гении.

— Ах! — сказала Оксана Михайловна — Понимаю, все понимаю. Постараюсь что-то придумать.

Позвонила она кому-то из знакомых:

— Ольга Густавовна! Добрый день. Это я. Звоню вам я сегодня по важному делу. У меня здесь Володя Алейников. Он хороший поэт. Толя Зверев говорит, что Воло-

дя — гений, как и Зверев. И вот, представляете, он бездомничает. Да, Володе негде жить. Совершенно негде. Может, вы приютите его у себя? Ну, хотя бы на время. Что? Согласны? Даю ему трубку.

Протянула мне муза зверевская телефонную трубку. Сказал я, по возможности вежливо:

— Здравствуйте!

И услышал:

— Володя, здравствуйте! Говорит с вами Ольга Густавовна Суок. Вдова Юрия Карловича Олеси. Оксана Михайловна рассказала мне все. Приезжайте ко мне. Живу я одна. Буду рада вам. Поживите у меня. Да подольше. Потом будем думать, как дальше вам быть. Жду. Сегодня же — приезжайте!

Я сказал:

— Спасибо огромное. Постараюсь приехать к вам.

Положил я трубку. Смущение вдруг нахлынуло на меня.

А Оксана Михайловна, радуясь, что помочь мне, поэту бездомному, сегодня ей удалось, на клочке бумаги писала адрес Ольги Густавовны:

— Вот. Вы найдете, Володя. Держите.

Взял я адрес.

А Зверев мне:

— Поезжай. Поживи в нормальных, человеческих то есть, условиях. Отдохнешь. Наберешься сил. Может, что-то напишешь новое. А потом я тебе позвоню. Мы еще, и не раз, увидимся.

Чай был выпит. Я стал прощаться.

И сказала Оксана Михайловна:

— Приходите ко мне почаще!

И сказал мне Зверев:

— Хорэ!

Вышел я из подъезда. Шел нескончаемый, сильный дождь.

Я все думал: поехать, что ли? — или, может, не ехать? Что-то останавливало меня. Если честно, то я стеснялся. Ничего поделаться с собою я не мог. Неловко мне было, ни с того ни с сего, мол, вышло так, что делать, ах, извините, пожилую, хорошую женщину, да еще и вдову Олеси, мне собою обременять. И решил я тогда — не ехать к ней. Поплелся куда-то, в слякоть, в дождь, промок, но упрямо шел, вдоль насупленных улиц, вперед. Где-то я отыскал пристанище. А потом еще и еще. Так и жил, скитаясь, бродяжничая. Как-то выдержал это. Сумел.

А Ольга Густавовна долго ждала меня. Так мне сказала позже Оксана Михайловна. А Зверев, мне показалось, взглянув на меня внимательно, даже одобрил меня — молодец, мол, не стал стремиться поскорее в тепло, в уют, пересилил себя, отважился на бездомную жизнь и — выстоял, даже, можно сказать, победил, — слава богу, жив и здоров.

Где былые года? Позади. Что там дальше? Свет впереди. Вспомнить многое, без прикрас, можно. Так я скажу сейчас...

* * *

В Сокольниках? Да, в Сокольниках.

Ну конечно. Где же еще?

В Сокольниках. Именно там.

На особенной территории.

В годы прежние — на приволье.
На природе. Конечно, и так.
Или, можно сказать, — на свободе.
Вдали от невзгод городских.
Там — деревья. Там — легче дышится.
Там — спокойнее для души.
Там в аллеях — музыка слышится.
Всем Сокольники хороши.

Мы решили пойти со Зверевым — так уж вышло однажды — в Сокольники.
И не просто так — погулять, побродить по местам знакомым.
Но — на встречу с друзьями нашими. Нас они должны были ждать.
Где? Да там, где мы с ними условились повидаться, в назначенный час.

И пришли мы на встречу — вовремя.
И увидели — издалека — всех троих наших славных друзей.
Почему же — издалека?

Потому что наши друзья были слишком заметными, были, как известно, людьми высокими. Каждый — метр девяносто с лишним. И сидели они на скамейке, возвышаясь на нею, как некие небывалые вертикали, или — вежи, или — столпы, или — может, и так, — изваяния, но — живые, само собою, да еще какие живые! — жизни было в них столько тогда, что хватило бы и на сотню современников, — и бурлила в них жизнь, да так, что летели искры электрические от них, рассыпались в разные стороны с треском, вверх высоко взмывали, окружали их ореолом, жгучим, жарким, вполне знакомым и привычным — для всех троих.

На скамейке сидели — Игорь Ворошилов, похоже — трезвый, узкилицый и длинноносый, в старом плащике тесном, Веня Ерофеев, со светлым чубом, развевавшимся на ветру, словно знамя, и Рафаэль Зинатулин, худой, очкастый.

И они — все трое, все разом — говорили, да так увлеченно, вдохновенно, о чем-то важном, было ясно, для всех троих, — что слова их взлетали, казалось, вверх, с осенними листьями вместе, и кружились над ними в воздухе, и на землю совсем не падали, оставаясь там, наверху, где сгущался в облачном небе, чтобы там задержаться подольше, ясный, тихий, волшебной музыкой нараставший, звучащий свет.

Я хотел было ринуться к ним — но Зверев как-то внезапно, беспокойно, меня удержал.

Кивнул головою в сторону — и прошептал:
— Менты!

Потом взгляделся куда-то — и уточнил:

— Нет, мент. Один. Пока что — один. Но все равно ведь — мент.

Посмотрел я туда, куда он кивал, напрягаясь, волнуясь, — и тоже увидел мента.

Одного. Настоящего. В форме.

Это был человек небольшого, даже маленького росточка.

Но, как Зверев говаривал, — враг.

И этот маленький мент, которого наши друзья не видели, разумеется, потому что сидели спинами к нему и вели свои разговоры, какую-то прыть проявлял, охотничью прямо, и вкрадчивыми шагами приближался сзади к скамейке, где сидела дружная троица.

Зверев сказал:

— Подожди. Не спеши. Посмотрим, что будет.

Я ответил:

— Давай подождем.

А наши друзья — говорили.

Ворошилов:

— Хлебников — гений! Угол зрения — вот что важно. Зорким стань — и ты все поймешь!

Ерофеев:

— Кстати, у Ибсена есть один любопытный ход. Он для прозы — незаменим.

Зинатулин:

— Суры Корана, я скажу вам, — это поэзия!

Ворошилов:

— Помню, когда прочитал я Беме впервые, мне открылось такое, братцы, что прозрел я тогда навек!

Ерофеев:

— Пер Гюнт! Вот это Скандинавия! Это музыка!

Зинатулин:

— Восток! Хайям! Авиценна! Дервиши, суфии!

И так далее. Как ни странно, разнобоя в словах друзей вроде не было. И друг друга хорошо они понимали.

Зверев тихо пробормотал:

— Ну и умные ребятишки!

Я ответил:

— Что есть, то есть.

Зверев:

— Им бы в Кремле сидеть — да страной управлять оттуда.

Я:

— Никто их не пустит в Кремль.

Зверев:

— Знаю. Да я шучу.

Я:

— Ребятки у нас — образованные.

Зверев:

— Ум — хорошо. У них, получается, — ум тройной. Как известный одеколон. Но не ум — один на троих. Три ума. И заметь, все — разные.

Между тем этот маленький мент почти подобрался к скамейке, на которой столь увлеченно говорили наши друзья.

Видимо, вообразил, что они выпивают. Иначе — зачем же им громко так говорить? На трезвую голову по-другому совсем говорят.

И вот этот маленький мент подошел вплотную к скамейке.

И — за спинами у ребят — завопил повелительным тоном:

— Так! Попались? Что, распиваете? Доигрались? А ну-ка — встать!

И друзья наши переглянулись меж собою, недоуменно и спокойно. И — встали тогда.

И внимательно посмотрели — с высоты своей — вниз, на мента.

Ворошилов сказал:

— Приветствую!

Ерофеев сказал:

— Ну, здравствуйте!

Зинатулин воскликнул:

— Салам!

Ворошилов:

— Да здоровствует Хлебников!

Ерофеев:

— И Северянин!

Зинатулин:

— И Авиценна!

Мент, растерянно:

— Где вино?

Ворошилов:

— Да нет вина!

Мент:

— А водка? Где водку прячете?

Ерофеев:

— И водки нет. А была бы — давно бы выпили.

Мент:

— А пиво? Пили вы что-нибудь?

Зинатулин:

— Увы, не пили!

Мент:

— А что же вы громко так говорили, не выпивая?

Ворошилов:

— Беседы наши — философские. Рассуждаем о величии бытия.

Ерофеев:

— Терминологию можем мы упростить, для вас.

Зинатулин:

— Подкорректировать.

Мент:

— Ну вот, развели антимионию! Говорить вы горазды. Выходит, вы совсем ничего не пили?

Ворошилов:

— Совсем ничего.

Ерофеев:

— Ну да. А хотелось бы.

Зинатулин:

— Совсем не пили!

Мент:

— Не знаю, что и сказать!..

Он стоял, растерянный, маленький, там, внизу, — а над ним возвышались трое наших богатырей.

Гренадеры. Нет, великаны.

С высоты почти двухметрового роста, как будто с башен, смотрели они сочувственно на маленького мента.

Что ему оставалось делать?

Мент сказал:

— Ну, ладно. Бывайте! Только с выпивкой чтобы — ни-ни!

И ребята, все вместе, воскликнули:

— Ну конечно же! Ясно. Прощайте!

И мент ушел восвояси — куда-то. И растворился где-то там, далеко, — навсегда...

И вспомнил я строки Хлебникова:

— И призраком ночной семьи застыли трое у скамьи.

Конечно же — с коррективами.

Из яви. А может — из сказки.

Из мифа. Или — предания.

Понятно, что — не семьи.

Тем более — не ночной.

А просто — дружеской троицы.

Но Хлебников был — я чувствовал это — совсем рядом.

А иначе вот здесь, в Сокольниках осенних, — и быть не могло.

Был, присутствовал, жил — за каждым словом и взглядом.

Смотрел на всех нас — внимательно, задумчиво и светло.

И тогда мне Зверев сказал:

— А теперь, Володя, пойдём! Заждались нас, видно, ребята!

И сказал я:

— Да, Толя, пойдём!

И мы подошли к друзьям.

Раздались восклицания наши, зазвучали в парке осеннем настоящей дружеской музыкой нашей встречи и наших имен:

— Здравствуй, Толя!

— Здравствуй, Володя!

— Здравствуй, Игорь!

— Веня, привет!

— Рафаэль, привет!

— Вот и встретились!

— Да, явились, не запылились.

— Нам пылиться, пожалуй, рано!

— А явиться — милое дело!

— Выпьём?

— Выпьём!

— А где?

— Найдем!

— Не впервой!

— Конечно!

— Еще бы!

И нашли мы то, что хотели, в павильоне каком-то дальнем.

И отправились — в глубь Сокольников, чтобы там быть поближе к природе и подальше от всяких ментов и подобных им раздражителей.

Пусть общению нашему дружескому в старом парке московском в осеннюю, переполненную поэзией душевной, чудесную пору не мешает отныне никто!

И там, в глубине лесной, можно сказать — в глуши, хотя эта глушь лесная находилась в столичном городе, но была тем не менее в нем отдаленной от шума и гула, от любых примет городских и казалась нам полной свободой, драгоценной, желанной

волей из преданий, песен и сказок, откровением, нам дарованным на какое-то время и явленным, в чем сомнений не было, свыше, выпивали мы, не спеша никуда, чинно, скромно, на свежем воздухе, — и, конечно же, говорили.

Разговоры прежние наши — вовсе не были болтовней.

Разговоры были — серьезными.

Нас поддерживали они.

Помогали нам — выживать.

Помогали сплотиться нам, ощутить единство среды нашей давней, отзывчивой, дружной — и, что самое важное, творческой.

Не хватило тогда нам выпивки.

Захотелось нам всем — продолжить.

Только денег у нас — уже не было.

Но волшебник Зверев сказал:

— Ерунда! У меня есть деньги. Завалились в кармане. Вперед! В магазин, поскорее!

Бодрит!

И отправились мы в магазин.

И встретили по дороге — маленького мента.

Он взглянул на нас — и сказал:

— Вы, я вижу, все-таки выпили!

Мы ответили:

— Так, слегка!

Мент сказал:

— Вот и я — тоже выпил. От тоски. Надоело все — и дежурства эти дурацкие, и Москва. Вот у нас в деревне — красота! Живи — не хочу. И зачем я приперся в город? Он совсем чужой для меня...

Ворошилов сказал:

— Так, может, с нами выпьешь?

И мент ответил:

— Нет, спасибо. Нельзя мне. Служба. Ну а вы, если хочется, выпейте. Только помните — поосторожнее.

Ерофеев сказал:

— Постараемся!

Мент:

— Вот именно!

И ушел.

Одинокий, маленький, грустный.

— Жаль его! — сказал Рафаэль.

Зверев:

— Жаль? Не забудь: он — мент. Из деревни в город приехал? Ну и что? Мог остаться в деревне. Сколько раз меня били менты — и небось такие, как он, из деревни, тоже ведь били. Впрочем, если по-человечески, то его действительно жаль. Не надо было идти деревенскому парню — в менты...

Что было потом — понятно.

Все равно мы выпили вскоре.

На Сокольническом просторе.

Славно выпили — впятером.

И никто не мешал нам — и выпить, и по-дружески поговорить.

И погода была — хорошей и нисколько не уставала все красоты поры осенней, вместе с явными чудесами, нам, друзьям, собравшимся вместе, здесь, на воле, в тиши, — дарить...

* * *

Целый день — размышлений рой.
Вспоминаю былые годы.
Устаю, бывает, порой.
Но держусь. Ведь вдоволь — свободы.
И затворничество мое — мне на пользу. Вдали от бреда и хаоса жите-бытье мне сулит в грядущем — победу.

На Джойсе — придется вновь повторить выражение это — свет клином — нездешний свет — не сошелся — и не сходил.

И — на Андрее Белом.
И — на других новаторах.
И — на писателях, более традиционных, что ли.
Свет сейчас — озаряет меня.
И в ночи, и в течение дня.
Свет — со мной. Пускай и осенний.
Свет открытий и воскресений.
Вот и в книге моей — он есть.
Речи выжившей — власть и весть.
Свет — над сонмом былых тревог.
Свет. Спасительный — видит Бог.

* * *

— Да что они понимают, замухрышки эти, в искусстве! — однажды воскликнул Зверев. — Не дано им, вот что скажу я убежденно вполне, — понимать. Притворяются, что понимают. Имитируют понимание. А искусство — это — ну как объяснить поточнее? — чудо. Ну откуда оно берется? Почему у одних — оно есть, а других оно словно обходит стороной всегда? Почему? Потому что искусство — единство земной, так я думаю, истины — и небесной извечной правды. Истина — в опыте нашем. А правда — в даре, который дан, как известно, свыше. Тот, кто сумеет это в творчестве соединить — тот создает искусство. К тому же следует помнить, что искусство — не блажь, а труд. И причем — огромный. Такой, что его еще надо выдержать. Тот, кто выдержит, победит. Вот что я говорю сейчас. И могу, если это надо, подписаться под каждым словом.

Я внимательно слушал его.

Мы снова были с ним в Свиблове, в переполненном страхами Гиблове, как его называл обычно в прежние годы Зверев.

Квартира, весьма унылая и какая-то беспросветная, была частично заполнена простейшей старою мебелью, но все равно казалась почему-то совсем пустой.

За окном — тоскливый пейзаж городской: вереница домов окрестных, малоприятных с виду, без всяких примет и отличий, почти одинаковых — просто коробки бетонные, серые или белесые, приспособленные для жилья.

Шаткий стол. Два-три стула. Тахта. Шкаф. И сверху на нем, горой презрительной, — работы зверевские.

Вот и вся обстановка гибловская.

Зверев резко поднялся с места. Походил немного по комнате. И — продолжил свой монолог.

— Вот я, например. Какая жизнь у меня? Скажу. Тяжелая. Так уж вышло. Рисую — с детства. Всегда, сколько помню себя, рисовал. И сколько моих картинок — погребло, пропало! Не счесть! Мать моими этюдами маслом, бывало, печку топила. Сколько было их разбазарено, разбросано по каким-то полузабытым местам! Где их теперь искать? Да и надо ли их искать? И ничего, стерпел все эти безобразия. Снова и снова — работал. Считают, что сделал я тысяч тридцать картинок. Чушь! Сделал я тысяч триста, наверное. Никогда я их не считал. Рисовал — где придется, частенько. Чем придется. На чем придется. Да какая разница мне — где, и чем, и на чем рисовать! Я художник. И, значит, могу рисовать тем, что есть под рукой. Были б только — подъем, полет. Вдохновение. Так называют знатоки состояние это. Я, конечно, не возражаю. Вдохновение? Пусть и так. Иногда — в газете какой-нибудь фотографию вдруг увижу, оттолкнусь от нее — и рисую. Возникает — изображение. Получается — преобразование. Так вот, вроде из ничего. А на деле — считай, волшебство. Иногда — рисую по памяти. Иногда — рисую с натуры. Иногда — в музеи хожу, для развития, для культуры. Мне по нраву — любая техника. А не только одна акварель. И бывает — новую технику я придумываю, на ходу, вдруг, внезапно, под настроение. Так что я, выходит, художник — многогранный, универсальный. Есть фантазия. Есть кураж. Есть талант. Все это — при мне. Только помнить советую всем: рисование — это работа. Например, акварель. Казалось бы, это совсем легко. Два-три акцента, пробелы, чтобы воздух в работе был. Вот и все. Но попробует пусть кто-нибудь это сделать так, как один я умею делать! Чтoб работа долго жила. Чтoб того, кого рисовал я, в самом деле — увековечить! Так что все это — ох, как непросто! И, конечно же, хорошо, что — непросто. Поскольку так — интереснее жить и работать. И поэтому необходимо и пожить еще, и поработать. Вот мой нынешний лозунг. Хорэ!..

И я ощутил тогда, что время свободно раздвинулось, разлилось широко в пространстве, слилось с ним в единое целое, — и там, далеко, высоко, за окном, за бетонными стенами, за всеми домами окрестными, в ненастном, сумрачном небе, над эпохой нашей грозною, сквозь дни ее и года, возникло сияние звездное, чтоб остаться там — навсегда...

* * *

— Слушай, давай сыграем вместе! — воскликнул Зверев.

Я спросил:

— В четыре руки?

— Ну да, в четыре руки!

Я сказал:

— Что ж, давай попробуем!

Были мы с Толей в гостях в доме одном. И там — увидел я пианино. И решил на нем поиграть. И — увлекся. Ведь редко бывала в годы скитаний моих бездомных такая возможность.

И Зверев, с его постоянной, искренней тягой к музыке, никак не мог удержаться, чтобы не поиграть.

Он придвинул стул к пианино и сказал:

— Буду я на басах!

И стали мы с ним вдвоем играть — в четыре руки.

Музыке Зверев сроду не учился. Но так играл, что, казалось, окончил он — и успешно — консерваторию.

Из сумбура, гула и рокота возникала внезапно — гармония.

Пальцы зверевские летали быстрой стаей птичьей над клавишами — и обрушивались на них, извлекали из них — звучание, и была в нем — полифония, был какой-то синтез особый — из традиции и авангарда, словом — Зверев и в этом был Зверевым, создающим, порою в живописи, а порою, как нынче, в музыке, все детали и все приметы своего волшебного мира.

Мы играли довольно долго.

Просто оба — импровизировали.

А когда устали, то Зверев, оторвавшись от клавиш, сказал:

— Хорошо, что на свете есть музыка!

Я сказал:

— Да здравствует музыка!

А хозяин квартиры сказал:

— Вас, друзья, записать бы надо! Virtuozы! Ну и концерт!

Но какая могла быть запись в середине семидесятых?

И откуда возьмешь хотя бы примитивный магнитофон?

Так что музыка наша тогда прозвучала — да там и осталась, навсегда, полагаю, в прошлом, где за окнами загорались в темноте огни городские, сверху сыпался мелкий снежок на асфальтовые тротуары, на усталых столичных прохожих с каждодневными их заботами, на дороги с машинами редкими, на дома, на деревья, и где-то высоко, в небесах предзимья, различить можно было с трудом золотые гроздья созвездий, словно запись чудесную нотную нашей музыки, давней музыки всех скитальческих прежних лет.

Иногда эта музыка снится мне, теперешнему, седому, и сохранность музыки этой не случайна — значит, она тоже выжила сквозь невзгоды, возвратилась к нам с небосвода, потому что дружбе и творчеству неизменно была верна.

* * *

Нет былого? Как — нет? В самом деле?

Неужели куда-то ушло?

Но куда? И в какие метели?

Чье над нами трепещет крыло?

Пусть кричат перелетные птицы

о таком, что дороже всего.

Есть былое! Пусть сызнава снится.

Сердцу мало его одного.

В настоящем, а позже — в грядущем
отзовется былое не раз.

В нем, чего-то хорошего ждущем,

нет ненужных прикрас напоказ.

Есть — щедроты, и есть — постиженье
истин, мыслей, событий, речей.

У былого — всегда продолженье,
от судеб наших — связка ключей.

* * *

...Помню март шестьдесят шестого.

В Москве как раз началась неделя — подумать ведь только! Событие-то какое, наконец! — итальянских фильмов.

Столичные, виды выдавшие не единожды вроде бы жители, но такого еще и не чаявшие повидать на веку своем, вместе с приехавшими из провинции смельчаками, рискнуть решившими на авось, была не была, вспомнив чеховское, призывное, золотое «в Москву! в Москву!», полагаю, да все вокруг, ну кого ни возьми, ни вспомни, все решительно, поголовно, так что счесть возможности не было никакой эти буйные скопища фанатов, так их теперь называют, а раньше как называли, никто не скажет, вероятно, просто любителями, дорывавшимися до зрелищ с боем, шумом, скандалом, лишь бы им проникнуть вовнутрь, туда, где ждало их, возможно, нечто небывалое, лишь бы им в зал попасть, любую ценой, где начнется вскорости действие удивительное, для них, героических наших граждан, храбрецов безбилетных, или, реже, правда, счастливых, с билетом, всех, к победе идущих по-своему, всех, желающих причаститься, без булды, святого искусства, всех, страдальцев и правдолюбцев, идотов и мудрецов, матерей, детей и отцов, и студентов, да и рабочих, всех, до радости встарь охочих, и художников, и поэтов, и ученых, и дам почтенных, и нахальных лихих девиц, и писателей, и врачей, и военных, и коммунистов, словом, всех, надоело, право, их сегодня перечислять, — все буквально с ума сходили по такому вот кинематографу, заграничному, непривычному, не советскому, значит — отличному, все в нем было давным-давно, потому-то — даешь кино!

Громадные толпы жаждущих увидеть хоть что-нибудь, если вдруг повезет, бывает ведь, штурмовали кинотеатры.

Мы с тогдашней моей женой, кареглазой Наташей Кутузовой, посмотрели всего-то навсего один-единственный фильм, но зато уж какой! — «Джульетта и духи», шедевр последний, никем доселе не виданный во пределах отечества нашего, волшебника Федерико Феллини, с его женой Джульеттой Мазиной, в главной, и тоже волшебной, роли.

Совершенно случайно это, как обычно, произошло.

Почему-то, зачем и как, неизвестно, поди гадай, да не все ли равно, поскольку это было когда-то с нами и осталось в числе чудес, оказались мы возле Дома литераторов. Ну а там — это надо же — фильм Феллини!

Перед входом — людское море.

Сонмы бурных — сквозь гул — страстей.

Как нам быть? Фильм начнется вскоре.

Ждать чего-то? Каких вестей?

Подошел я с большим трудом к приоткрытой внутренней двери, охраняемой с двух сторон разъяренными некими церберами.

И увидел вдруг, за стеклом, в вестибюле, забитом писателями и какими-то смутными личностями, непонятными мне, Тарковского Арсения Александровича, стоявшего в одиночестве, посреди всеобщего шума возбужденного, и глядящего ввысь куда-то, и вглубь, и вдаль, в измеренья, в миры другие.

Взгляд поэта скользнул пониже.

Пробежал по лицам бесчисленным всех, собравшихся в вестибюле.

Опустился медленно вниз.

Приподнялся выше, до уровня глаз моих, лица моего.

(Ну конечно: «земле — земное».)

Так назвал он — книгу свою.)

И увидел: земное — рядом.

И заметил меня — за дверью.

Помахал я ему рукою.

Помахал он и мне рукою.

А потом — подошел поближе.

И сказал:

— Идите ко мне! Рад я встрече с вами, Володя!

Разъяренные некие церберы с двух сторон расступились молча.

Мы с Наташей, за руки взявшись, да покрепче, прошли в вестибюль.

Подошли к Тарковскому. Стали разговаривать с ним, о том да о сем, о стихах в основном. Любопытные — нам внимали.

Ведь считал Тарковский тогда, что в стихах моих «каждая строчка — гениальная». Прямо в точку, говорили. Моя звезда высоко стояла. Вокруг оглоеды роились, пишущие, все на свете мгновенно слышащие, каждый — вроде бы лепший друг. Был я встарь независим, строг с этой сворою безобразною, злоязычною, впрямь опасною и завистливой. Видит Бог, был я сам собою, везде, не кичился ничем — ни даром, свыше данным, ни дивным жаром, обретаемым лишь в труде, постоянном и неизменном. Болтунам любопытен был каждый шаг мой и прежний пыл, им казавшийся вдохновенным.

Говорили мы, два поэта, молодой — с весьма пожилым.

Рев раздался на улице где-то. Грянул гром, тут же, вслед за ним.

Стены дрогнули. Дверь — открылась.

К потолку суета взвилась.

Что-то грохнулось и разбилось.

Это внутрь — толпа ворвалась.

Подхватила толпа несметная, на лету, на бегу, Тарковского и меня с Наташей Кутузовой, подхватила и понесла, оголтелая, проломившая все кордоны и двери писательского, ну, держись, мол, теперь, «гадючника», подхватила, почти на весу, нас троих, без всяких билетов, прямо в зрительный зал внесла, дерзновенная, неисчислимая, в честь искусства преграды разрушившая, и заполнила зал, до предела, и расселись все, кто куда, и затихли, и стали ждать с нетерпением начала фильма.

Ничего не могло начальство со стихией этой поделать.

Никуда ее не прогонишь — и в ментовку ее не сдашь.

Не угробишь, как ни пытайся изгаляться, — любовь к искусству.

И пришлось начальству гадючному — демонстрировать всем нам фильм.

Так что факт исторический — взятие Бастилии, крепости грозной, неприступной, толпами дружными по-боевому настроенных французов — с тех пор представлялся мне совершенной реальностью, будто бы, пусть и случайно, да все-таки и мне там пришлось побывать.

Фильм Феллини привел в восторг меня и глубоко поразил. Впечатление от него навсегда осталось в душе.

Это было искусство таинственное, магическое, мистическое, пластичное, полифоничное, настолько близкое мне, что многие годы потом существовало в сознании скорее как музыка дивная, а не кино, другое нечто, во всяком случае, зрительность долговечная его удивительным образом соединилась, как-то сроднилась вдруг со звучанием, быть может, воображаемым или же просто мною сочиняемым, про себя, когда вспоминал я какие-то характерные эпизоды, и так у меня бывало часто, и все для меня наиболее дорогое превращалось именно в музыку, и не думавшую прекращаться, уходить, исчезать куда-то, но в душе моей поселявшуюся, и свободно жившую в ней, и возникавшую сызнова, в любую секунду, мгновенно, по малейшему даже, но искреннему желанию моему, оживавшую — и потом развивавшуюся, разветвлявшуюся, вместе со мною движущуюся сквозь время и сквозь пространство, и к этому я привык давно уже, это мое, моя особенность — вот что, и мне хорошо с этой музыкой наедине быть, рядом, в месте любом, в любых условиях, потому что никто ее, кроме разве что меня самого, не слышит, а она, земная такая и небесная, тем не менее все звучащая и звучащая, мне не только слышна, но даже видна, вот какая загадка, вот какая странность,

но это ведь та реальность, которая движет, прежде всего, творчеством, вызывает из глубины какой-то нужные, важные импульсы, извлекает из прорыва какой-то нужные, важные, точные, очень личные, чистые звуки, за которыми, вот она, вот она, уже встает вдалеке и движется прямо к тебе, только к тебе одному, та вещь, которую пишешь ты, которую вдруг, объяснить невозможно, ты начал записывать, потому что она пришла к тебе, сама, потому что так надо, именно так, и никак не иначе, вот ведь в чем дело, именно в это мгновение, и ни мгновением позже, и все оживает, звучит, все дышит и видится ясно, слово за слово, слово за слово, по наитию, по чутью, речь сама говорит, что делать, речь сама говорит, как быть, и диктует сама тебе то, что пишешь ты, именно речь, вечной ткани вселенской частица, тех миров и планет посланница, с которыми есть у тебя незримая связь, и всегда из единства всего живого, в котором ты чувствуешь разума высшего токи, духовная светлая нить к тебе, сквозь явь твою, с правью ее, протянута, и тебе предстоит работать все больше, и в трудах этих, только в них, ощущать себя человеком, быть самим собою, да просто все вместить в понятие: быть.

А девятого марта все мы, как-то разом осиротевшие, так тогда почему-то казалось, прощались с Анной Ахматовой.

Помню, как заходили мы, грустные, притихшие, присмирившие, молчаливые непривычно, чередую прерывистой, медленно продвигающейся куда-то в неизвестность, вперед, в какое-то неизведанное пространство или, может быть, измерение, все бывает ведь, или в мир параллельный, или за грань, ощутимую кожей всею, всем хребтом, не выразить это, все четыре стороны света сговорились тайну хранить, и тянулась из бездны грозной, из торжественной тризны звездной, к нам, сюда, незримая нить, не понять нам было, конечно же, ничего, в тот скорбный, суровый, отрешенный от всех забот и сует, от сплошного быта, от всего, что, взглянув открыто, уходило подалее, в тень, затаясь там, бездонный день, со скользящим ледком, снежком, серебрищимся на асфальте, под ногами, с морозцем легким, с ветерком, по Москве сквозящим, с холодком пустоты, разящим наповал, повсюду, по всей напряженно застывшей округе, словно весть разнеслась по ней об утрате огромной, точно с голубиною, может, почтой или как-то еще, пришла весть другая, издали, из безмерной выси небесной, из разъятой глубины вселенской, о величье, о доле женской, о бессмертье, о том грядущем, что вставало там, впереди, что ждало, понимало, пело, что сюда заглянуть сумело, что с душою срастись успело и сжимало сердце в груди, помню, как с переулка пустынного заходили мы, постепенно, в тишине, всеобщей, и властной, и тяжелой, в один из дворов жутковатого Института Склифосовского, а потом — в одно из приземистых, старых, виноватых каких-то, с виду, все трагедии, драмы, обиды, и труды, и бывшие беды, и мучительные беседы, и решительные победы стольких лет внутри накопивших и в раздумьях своих застывших огорченно, зданий его.

Поднимались вверх по лестнице в какое-то помещение.

Там лежала та, что была, долго, более полувека, во пределах отчизны нашей, и везде, где имя ее драгоценным для многих было и останется и в грядущем вечным, Анной всея Руси, как сказала о ней Цветаева.

Там лежала та, что была всей судьбою своей светла.

Там лежала та, что звалась, так по-царски, — Анна Ахматова.

Так по-женски звалась всегда.

Словно в небе ночном — звезда.

Как в июне — всюю — теплынь.

Как в степи за холмом — полынь.

Как в лесах вековых — река.

И в снегах роковых — тоска.

И — свеча за окном, в глуши.
Все, что шепчешь порой в тиши.
Все, что помнишь и что зовешь.
Что с собой, уходя, возьмешь.
Что, вернувшись, припомнишь вновь.
С верой — чаянье. И — любовь.
Свидетельствую: сияние стояло тогда над ней.
Сияние — предстояния: пред всем, что душе родней.
Сияние: состояние, которому равных — нет.
Сияние — расстояния. С небес благодатный свет.

Было много народу. Шла и росла череда людская. И немало знакомых в ней, друг на друга взглянув, кивнув головою, взмахнув рукою, в знак приветствия, шли и шли, вдоль сияния, вдаль куда-то, в глубь, над коей сияла — высь.

И казалось, что в небе где-то, прямо днем, подтверждая это, всем на память, величье света, сонмы звезд над землей зажглись.

И я вспоминал не единожды возникавшее на протяжении трех лет минувших желание некоторых моих тогдашних добрых приятелей познакомить меня с Ахматовой — и думал, что правильно я поступал, от возможных визитов отказываясь неизменно, потому что знал, по чутью, по наитью, всегда: так надо, — и теперь, в день прощальный, увидел я то, чего никакие знакомства не могли бы мне дать, не открыли бы: дух, присутствие духа высокого, торжество его в мире, сияние.

Чем еще памятен этот, глядящий сюда из бывшего, ждущий волшебного слова, чтоб вернуться сызнова, март?

Маршруты его и встречи, оставленные далече, просвечивают из речи, храня молодой азарт.

Мы с женой хотели снять комнату, чтобы жить в ней самостоятельно, молодою семьей, искали, но, увы, ничего не нашли.

Жили мы в непростых условиях — все стерпели, перемогли.

При малейшей возможности мы уезжали куда-то, были там допоздна, потом возвращались ночевать, чтоб снова с утра уходить, пораньше, конечно же, поскорее, туда, где ждали нас, где встречали радушно, искренне, нам желая только добра.

Приходили — туда, куда звали.

Звали — многие. Каждый день.

Приглашения мы — принимали.

Всем общаться было не лень.

Ведь общение в прежние годы всех спасало, нужно было — всем.

В нем — залог возможной свободы? Свет, пришедший к нам насовсем?

(Помолчим — о свободе. Так ли представляли ее мы встарь?

Свет — сквозь сумрак. Отзвук миракля. Грани фаска — сквозь фарс и хмарь.

То-то сердце сильнее бьется.

То-то чаще душа болит.

Век — уходит. Речь — остается.

Что-то ждать перемен велит.

Изменений каких-то? Вмиг?

Словно в сказке волшебной? В яви.

В том, что нынче постичь мы вправе.

В том, что вышло к нам не из книг.

В откровеньях. И в чудесах.

В мыслях, чаяньях, упованьях.

Искони — в земных расставаньях.
В новых встречах. И — в небесах.)

Этот март был до встреч охочим.
Встречи встречами. Всех — не счесть.
Но была в нем — благая весть.
Этот март — был еще и рабочим.

Писал я тогда стихи, циклы стихов, составившие книгу, названную, в честь поэта, и скитальца, и ясновидца, всех юней, «Путешествия памяти Рембо», — и другие вещи, из которых позже сложился том довольно большой — «Возвращения».

То и дело меня куда-нибудь, в дома, где любили поэзию, в салоны для избранных, где собиралась богема столичная, в мастерские художников наших авангардных, полузапретных, в институты, вроде курчатовского, приглашали читать стихи.

Смогистская слава моя, былая, периода бури и натиска, год назад всего-то, и все же былая, и потом, в шестьдесят шестом, да и позже, была очень прочной.

Двадцатилетний, считался я настоящей тогдашней звездой.

Знатоки, семи пядей во лбу, толковали стихи мои, каждый — на свой собственный, личный, особенный и мудреный поэтому лад.

Любители современной, притягательной, новой поэзии, в отечестве не издаваемой, приходили ко мне на поклон.

Молодые поэты, московские, петербургские, провинциальные, добивались встречи со мною, были ждать месяцами готовы, лишь бы только мое услышать о своих писаниях мнение.

Авторитет у меня был, так сложилось, огромный.

Всему этому, разумеется, способствовала молва о том, что я пострадал из-за СМОГа, что я гоним властями, что изгнан был из университета, что где-то в зарубежных изданиях были публикации у меня, что стихи мои здесь, на родине, запрещено издавать.

Все это, в молодые годы мои, так и было.

Но как же все-таки, братцы, в минувшие времена действовало на людей все вместе — и то, что сумел я устоять, сумел, вот и все тут, несмотря на все испытания, сохранял всегда независимость, сохранял присутствие духа, очень много работал, держался молодцом, да и то, что, будучи вроде бы человеком публичным, общительным, компанейским, вдруг замыкался я, уходил от всего, что мешало мне, в свой мир, закрытый от всех, в то, что писал, в свои стихи и прозу, и этим затворничеством своим, трудно весьма дающимся, особенно при отсутствии собственного жилья, да просто угла своего, дорожил чрезвычайно, — и все вкупе всегда обсуждалось, широко, с интересом явным, с любопытством, на всех семи холмах столичных, и далее, по разным провинциальным городам и весям, немедленно порождало и множило слухи, ну а с ними и мифы, легенды, — и работало, вот что занятно, на образ, для них, всех оптом, любопытствующих, празднословных, почему-то интересующихся не только моим, и это понятно мне было, творчеством, но и жизнью моей повседневной, и сплетающих, ловко, усердно, из всего, что связано было со мною, сказки свои, — сам же сроду я не кривлялся, не строил, кого — неведомо, из себя, нигде, никогда, вел себя естественно, просто, в любых обстоятельства, даже в самых трудных, самых рискованных, самим собой оставался, поскольку так вот и надо вести себя в жизни, в моем понимании, давнем, личном, — так и жил, и работал, тогда, в крылатых шестидесятых, так и живу, представьте, только еще, пожалуй, проще, так и веду себя, еще, возможно, естественнее, и работаю, полагаю, еще больше, в зрелую пору свою, сокровенную, личную, в девяностых, — но, вот что занятно, и досадно, и грустно, в общем-то, всяческие легенды обо мне, человеке, работающем больше всех моих современников, продолжа-

ют, в различных краях, и в провинции, и в столице, и на родине, и за границей, появляться, им несть числа, нет на них угомона, право, коли мыслить об этом здраво, все в них вместе, хула и хвала.

Ну и нравы, ну и привычки у людей, неразлучных с молвой!

Подбирают любые отмычки к слову точному, к мысли живой.

Годами буквально прячешься, от суеты ненужной, от раздражителей всяческих, затворничаешь, отшельничаешь, да и только, десятилетиями всех этих разносчиков слухов, сплетен, легенд и мифов не видишь, и на душе спокойней без них, — а они по-прежнему, по инерции, продолжают все тем же самым заниматься, не уставая, — да еще и, на смену им, устаревшим, новые сказочники, мифотворцы, сплетники новые и разносчики слухов, надо же, незаметно вроде бы, вот они, современные эти вирусы, что мутируют нынче запросто, как-то исподволь подросли.

Спohватившись, припоминаю, что страна-то у нас — из сказок Афанасьева. И улыбаюсь: всякое здесь бывает, и то ли может еще быть, и мало ли что уже бывало — и, вновь махнув рукой, отвяжитесь, мол, отстаньте, на все эти штучки с византийским плетеньем словес, живу неизменно по-своему и своим занимаюсь делом.

Но кто бы представить мог, что весной шестьдесят шестого в кинотеатре «Форум», на Садовом кольце, неожиданно для всех вдруг покажут великий фильм Федерико Феллини «Восемь с половиной»! Чудеса продолжались, видимо, в Москве. И мы узнали об этом совершенно случайно. Шли по Колхозной площади, там, где была когда-то Сухарева башня, та, в которой чернокнижник Якоб Брюс астрологией спокойно занимался или магией, — та самая, которую почему-то взяли да снесли в сталинские времена лихие. Смотрим — от площади, вниз, к «Форуму», толпы густые взбудораженных чем-то людей стекаются, уплотняясь, разрастаясь, гудя о чем-то, бормоча, восклицая, крича. «Вы куда?» — «А что, вы не знаете? Поспешите! Скорее, скорее! Говорят, что единственный раз будут фильм крутить, да какой! Догадались? Шедевр Феллини!» И — вперед. И вместе с толпой, буйной, плотной, многообразной, мы с Наташей уже оказались возле входа в кинотеатр. Но туда — никого не пускали. И тогда осерчала толпа — и рванулась на штурм, и смела все кордоны, и дверь проломила, и внеслась, многоликая, в зал. И — затихла. И стала ждать: ну когда же покажут фильм? Никаких безобразий — не было. Абсолютная дисциплина. И достойная всяких похвал, на упрямстве людском, на желании, на тоске по чуду возросшая, потому и прекрасная — выдержка. Все умели в те годы — ждать. Это стало — всеобщим искусством. Ждали. Час. Полтора. Милиция начеку была. Никаких нарушений порядка общественного не замечено было. Народ ждал. Прошло два часа. Никто и не думал уйти. Сидели и стояли, вплотную друг к другу. Зал заполнен был до предела. Ждали. Молча. Надеялись. Верили, что свершится чудо, что фильм нынче будет показан. В зале тишина стояла такая, как, наверное, перед решающим, неминуемым, скорым сражением. И тогда — совершилось чудо. В зале свет погас. А экран — ожил. Фильм, о котором столько приходилось нам слышать, странным, ирреальным, пожалуй, образом, потому что иначе не скажешь, — мы увидели. Убедились, что в Москве бывают порою настоящие чудеса.

* * *

...На то и Париж есть на свете, чтобы в нем обязательно встретить, хоть раз оказавшись там, знакомого человека. И даже не одного, а многих знакомых. Со мною именно так все и было.

Целых тридцать три года назад. Как давно! И недавно вроде бы. Как вчера. В декабре, в Париже. Незадолго до Рождества.

Как же нынче не вспомнить Париж!..

Мне снится Париж на заре в декабре, рождественский гомон в сквозном серебре, раскованный рокот, разомкнутый глас, — как будто бы это я видел не раз. Прапамять! Откуда же это взялось? От прежних ли дней? от седых ли волос? — распластанным деревом, живучим зрачком, — как будто бы с этим давно я знаком. Не просто виденье — но вглубь или вдаль, как будто над ним нарастает печаль, — и небо над ним вырастает в окне, и этого нимба довольно вполне. Крепись же, пришелец, — пора уезжать — но кто же захочет тебя провожать, когда наваждение расплеснуто вдоль, а с ним наслаждение — и все-таки боль! Сдержи, чужестранец, скупую слезу, сощуришь, гляди на витую лозу — дымок сигаретный свернется в кольцо, и кто-то над миром поднимет лицо. Пойми же, скиталец, что некуда плыть, что тем, кем рожден ты, везде тебе слыть, где ждут не того, что тебя сохранит, что сымала душу с землею роднит.

И то ведь сказать — Париж! Лютеция. Стольный град. Кораблик, над Сенной плывущий. Готической розы шипы. Виньетки и витражи. Но прежде всего — стены. От башни до башни звук доходит без всяких мук, за светом пристроясь, вдруг срываясь, и — с уст? из рук? — в лиловый врываясь круг, скрываясь внутри, но вот растерянно возвращаясь и радуясь возвращению по-птичьи, — а там и сон придет из былых времен и молча уйдет, чтоб нам вздохнуть по нему, печалась о чем-то, что нам дано, как взгляд из глуши в окно, — и все же привычной здесь молчать, воскрешая — образ, из множества ощущений видение создавая, и все-таки лучше — так, всегда для души спокойней — быть в яви своей таким, как есть, собою самим, чем в мареве растворяться, достойней намного — жить по праву, как предки наши, чем, с навью играя в прятки, терять естество свое, — о нет, не для нас все это! — пусть все же Париж хорош — и был я в мираж сей вхож.

Я приехал в Париж — случайно. Причем не один приехал, а с большой, шумной, пестрой группой молодых, заводных, напористых, шустрых, очень самоуверенных, невероятно активных, достаточно наглых, таких, кому и море, наверное, по колено, подумаешь — море, кому и сам черт не брат, предприимчивых, деловитых, выше всякой нормы загруженных всевозможной аппаратурой, и не просто практичных, а хлеще, с удивительным для меня, может — кастовым, элитарным, ну а может, и просто новым, для меня, затворника давнего, непривычным, поскольку я, видно, вправду отстал от жизни, междувременным, возрастающим с каждым часом и днем, самомнением, как бы временных телевизионщиков, намеренных почему-то снимать, непременно — в Париже, эпизоды для фильма о СМОГе.

Меня они, молодые, уговорили участвовать в этом будущем, невероятном, уникальном и вроде возможном, после тусклых советских лет, очевидно — сенсационном, как уже обещалось ими, полнометражном фильме.

Они обещали вывезти меня вместе с ними в Париж.

Как реликт, наверное. Или — связующее звено.

Нужен был я им для того, чтоб водить их, ну впрямь, как Вергилий, по своим, весьма многочисленным, раньше жившим в Москве и в Питере, а теперь живущим в Париже приятелям и знакомым.

Очевидно, подразумевалось, что вот привожу я их, всю группу телевизионщиков, по такому-то, мне, а не им хорошо известному адресу, звоню, открывается дверь, — и я: «Ну, здравствуй, Олег!» или «Ну, здравствуй, Леша!» — наконец-то, ликуя, встречаюсь после долгой, тяжелой разлуки с каким-нибудь очередным художни-

ком или поэтом, — и все, гурьбою, — за мной, — тоже входят, и сразу снимают всю сцену встречи друзей, затем — понятно, беседы о том да о сем, — а потом, в Москве, при работе над фильмом, смонтируется все это, урежется, обстругается, — и что-то, глядишь, и войдет в задуманный ими фильм — о СМОГе, о круге СМОГа, в России и за границей.

И они действительно вывезли меня с собою — в Париж.

Невероятно быстро почему-то, видать — по знакомству, оформили заграничные, для каждого, паспорта.

В Шереметьеве мы застряли надолго, на целую вечность. Вылет наш все время откладывался. Рейс задерживали и задерживали. Всем уж было невмозготу. Слились часы ожидания в одно, с безысходностью грустной, сплошное туманное месиво. Народ роптал. Но потом стал вести себя побойчее. Всеобщее возмущение постепенно переросло в решительный, дружный протест. Кое-кто собирался уже, от отчаяния, бунтовать, напряжение нарастало. Уже призывали к ответу администрацию аэропорта. Уже начались и крики, и отчетливые призывы взять самолет штурмом. Уже запахло в несвежем аэропортовском воздухе настоящим народным бунтом. Пассажиры митинговали. Телевизионщики шустрые, для пущей, понятно, важности, для остратки, делали вид, что снимают аэропортовские волнения на свои большие, тяжелые камеры. Долго, слишком уж долго мы ждали вылета. И наконец нас повезли к самолету. И вот уже мы в самолете. Сидим в салоне. Ждем взлета.

До самой последней секунды не верил я, что меня, так вот просто, без всяких придинок, выпустят за границу.

Все казалось, что всем разрешат улететь, а меня — непременно задержат: а вы, мол, куда? Назад! И — оставят в Москве.

Велика была, видно, в мозгу боль и тяжесть минувших лет.

Но меня никто не задерживал.

Даже странно. Неужто выпустят?

Самолет взлетел. Я сидел в небывалом оцепенении — и молчал. Мне еще не верилось, но уже и верилось, ибо оторвались мы от земли и летели в зимнем пространстве, в темном небе ночном, высоко, — не достать меня власти отсюда, не вернуть с издевкой назад, — я свободен? Да вроде свободен. Вот лечу. Не куда-нибудь, а в Париж. Я впервые в жизни вырывался тогда за границу. Оказалось потом, что в первый и последний, доселе, раз. Но тогда — все было впервые. И запомнил я навсегда ощущение это — отрыва от магнита, что ли, какого-то, от чего-то огромного, что мертвой хваткой держало меня столько лет, от того, что было жуткой силой, ставившей долго жирный крест на свободе моей. А теперь — неужели свобода? Привыкать к ней было мне трудно. Я для храбрости даже выпил, хоть давно уж спиртного не пил. Напряжение оставалось где-то там, внутри, все равно оставалось, покуда мы все летели, туда, на Запад, над Европой, внизу лежащей, чужеродной, неразличимой с высоты, без лица, без голоса, без каких-нибудь более-менее узнаваемых очертаний, потому и условной, незримой, просто-напросто словом, названием, из учебников по географии, из газет, из фильмов, из книг, той, что где-то под нами, в прорве, переполненной ветром, холодом, всеми только подразумевалась, оставаясь все той же тайной за семью, наверно, печатями, что и встарь, загадкой сплошную, школьным ребусом или кроссвордом, сном, игрою в прятки, шарадой, всеми странами, с их городами, с их неспящими или спящими по домам своим европейцами, всем, что сплыло, и всем, что было далеко под нами, внизу, наваждением, сновиденьем перед утренним пробужденье, и уже я смирился с этим, и уже оставалось, видно, успокоиться и привычно это просто вообразить.

Мы летели — и прилетели.

Боже мой, неужели — Париж?

Оказался я там в совершенно другом, незнакомом мире.

И, наверно, в другом измерении.

Поселили всех нас в Монжероне.

Замок, бывший когда-то давно, при королеве Анне Ярославне, просто обычным загородным, охотничьим, небольшим по размерам домом, на протяжении нескольких веков потом перестраивался, разрастался, ветшал, дряхлел, — и сейчас в нем жили, как выяснилось, в основном люди русские, бедные, наши бывшие соотечественники.

В нем запросто мог разместиться целый полк. Помещений там было предостаточно. Всяких. Больших и поменьше. Комнат, клетушек. И внушительных, в пол-этажа, с тяжело нависшими сводами и оконцами, темных покоев.

Были длинные коридоры. В коридорах — частые двери. Общежитие прямо. Общага. Оказалось, что это так.

Открывались, одна за другой, в коридорах двери — и люди выходили из этих дверей. И порою — знакомые люди.

Вот и стал я с ними общаться.

Юра Титов, архитектор, художник, известный в Москве широко — в минувшие годы, умудрившийся даже в Париже много лет отлежать в дурдоме, диссидент знаменитый бывший, а теперь — совсем одинокий, поскольку жена его умерла, пожилой человек, ютящийся здесь, в Монжероне, измученный, полуголодный, потому что родная дочь не кормила его почти, все терпевший, но и страдавший, в одежонке старой, бредущий шаткой, валкой, нетвердой походкой в комнатуху свою, чтобы там предаваться мечтам своим творческим, фантазировать, создавать, — разумеется, в воображении — небывалые здания, храмы, рисовать их, чертить на бумаге улетающие в небеса купола и легкие кровли, вдохновляться — и оставаться в одиночестве, наедине, днем и ночью, с самим собой, жить надеждами на возможное улучшение жизни, на что-нибудь посветлее, на то, что сбудутся все мечты его, все желания сокровенные, — год за годом.

Валя Самарин, Тиль, питерский художник, фотограф, которого помнил я, приехавший в Питер в годы минувшие часто и живший подолгу там, с начала семидесятых, а то и гораздо раньше, с которым, само собою, виделся не единожды и в компании Кости Кузьминского, и в прочих богемных питерских квартирах и мастерских, человек невысокий, подвижный, заводной, боевой какой-то, с увлечениями, с восторгами, со сменяющимися периодами своего, с придумками, с новшествами, с заковырками, буйного творчества, ну а с ним и с привычкой странною — то и дело менять имена, все придумывать и придумывать, позагадочнее, позвучнее, непривычные слуху фамилии, со своим, с причудами, сказочным, фантастическим, герметичным и отчасти фантазмагоричным, от чужих на замок закрытым, для своих — приоткрытым, в меру, чтоб туда не могли ворваться всей гурьбою и что-нибудь там нарушить, внутренним миром.

Игорь Холин, сын авангардной художницы, бывшей на родине известной в кругах андеграунда, но уехавшей вдруг во Францию, в городке каком-то живущей захолустном, а то и в деревне, на отшибе, вдали от парижской бурной жизни столичной, Лиды Мастерковой, парень хороший, крепенький, плотно сбитый, молодой, но какой-то усталый вроде, словно недоумевающий — и зачем это здесь он, скажите-ка, в эмиграции, оказался? — и глазами своими теплыми все глядящий куда-то во влажное, пригородное, французское, неродное совсем, но все-таки с птичьим щебетом, с виноградными узловатыми старыми лозами и с деревьями, тоже старыми, в серебристо-сиреневой, с просинью, с тонкой розовой жилкой, дымке, обжитое давно пространство.

И так далее, и так далее.

И вся эта пестрая публика, и все эти славные люди, жители Монжерона, были, увы, полунищими, были полуголодными.

Приютили их здесь, выходит, вроде как из сострадания.

Не сложилась у них во Франции хорошо и удачно жизнь, так удачно, как у других, видно, более сообразительных и удачливых эмигрантов.

Однако здесь был — кров. А это уже так много.

Было здесь все же — общение. Разношерстная, но — среда. А ведь это так важно всегда. И особенно — здесь, в эмиграции. Как-никак, а поддержка. Моральная. Иногда и материальная. Все — держались, уж как умели. Как у них выходило. Все — жили здесь. Монжерон был полон соотечественниками былыми, ныне — жителями французской, приютившей их всех земли.

«Я прошу, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости...»

Вот-вот. И жалость была, и милость тоже была.

Жизни только нормальной не было.

И меня охватила к ним жалость. Состраданием к ним я проникся, даже больно за них мне было. У меня какие-то деньги, небольшие, а все же имелись. Что-то выдали здесь, на расходы. Что-то взять удалось с собой.

Вот и стал я своим знакомым, от души, от чистого сердца, как сумел, как уж там получалось, ненавязчиво, но упорно, потому что знал, что так надо, понимал положение их незавидное, день за днем, в меру сил своих и возможностей, на чужбине, их не привечавшей, сирым им, день за днем, помогать.

Я кормил их, вином угощал. Я читал им стихи. Мы за полночь все беседовали, бывало, и никак не хватало времени, чтобы всласть нам наговориться — как когда-то, в Москве и в Питере, говорили мы, в наших компаниях, в тех, крылатых, шестидесятых и нервических, драматичных и трагичных семидесятых, — потому-то и здесь, во Франции, эмигранты рады-радешеньки были доброй традиции нашей — говорить по душам. А еще — был я гостем оттуда, с родины. Значит — новости, значит — расспросы: кто, да что, да как, да зачем. Значит — память. А с нею — и связь, пусть и временная, но реальная, с тем, оставленным ими, прошлым, где в единстве были они.

Так и жили мы там, в Монжероне. Как и встарь, дружили. Общались. Все общению были рады.

Ну а что же телевизионщики?

С ними вместе я, в первые дни парижской, бурной весьма, на события щедрой, на встречи, неожиданные порой, интересной, бесспорно, жизни, кое-куда съездил, кое-кого повидал.

Оказались они на поверку ребятишки совсем еще с виду молодые, вроде зеленые, тем не менее люди работные, ибо все же телевизионщики, вовсе не теми людьми, за кого до приезда в Париж себя они выдавали.

Огорчили они меня. Хамства я не люблю. Поэтому отделился от них я вскоре. Лжи и наглости, лести и подлости, вместе смешанных, перетасованных, под прикрытием идей, подтасованных так, что сразу и не разберешь, отродясь я терпеть не могу.

С ними я возвратился в Москву. Потому что — куда мне деваться? Группа все-таки. Рейс. Билеты. В самом деле, не одному ведь добираться мне. Бог с ними. Стерпим. Довезут. И они — довели.

В Москве я сказал им твердо, что участвовать в фильме отказываюсь, на порог никого из них не пушу, никаких своих уникальных материалов им не дам. Нагулялись. Баста! Проявились — во всей красе. Все я видел — и все я понял. Объяснять ничего не надо. Мне и так все давно уже ясно. Пообщались — и разошлись.

Фильм о СМОГе они, конечно, как уж вышло, а все же сварганили. Обошлись — без меня. Ну и ладно. Не впервые. Переживем.

Назывался их фильм — «Весела была ночь». По строке Аркаши Пахомова.

Его я поставил в известность о том, что сниматься в фильме о нашем СМОГе — не буду.

Аркаша — не удержался. Ну как же ему — да не сняться? Соблазн был велик. Втихую, как много уж раз бывало, он предал меня. Смогист. И даже — товарищ крылатый. В былые наши года.

Забот своих и работы своей, как это всегда, всю жизнь, у меня бывает, хватало. Уехал я к родителям, в Кривой Рог. Потом, уж не помню — зачем, но, стало быть, надо было, хотя и не очень хотелось, пускай и совсем ненадолго, от писаний своих отрываться, Вынужденно, потому что так было надо, а значит, ехать пришлось мне все же, я возвратился в Москву.

И вот — включаю однажды, сам не знаю зачем, телевизор.

Совершенно случайно это получилось, но, как обычно у меня всегда и бывает, вместе с тем и закономерно, далеко не случайно — и даже так, как все и должно было быть.

А там, на экране, — фильм.

Тот самый, когда-то обещанный, уже сварганенный фильм.

О СМОГе.

Но — без меня.

Посмотрел я его. Пришлось.

И подумал: какое счастье, что участвовать в нем, по чутью, да еще потому, что понял, кто его собирался делать, отказался я сразу же, вовремя!

Много видел я всякой дряни.

Но такое — видел впервые.

Одного хотелось — пойти и отмыться от этой грязи: так и лезла она с экрана, даже трудно было дышать.

Вот уж поистине — все средства для достижения цели всегда хороши! Чего только я не увидел в этом хреновом фильме!

Перво-наперво — свалки, помойки, смесь нарезанной кинохроники приснопамятных лет советских — с чем угодно, лишь бы заполнить чем-нибудь, солянкою сборной, кадр, — и вышла каша-малаша, даже хуже — бредок такой, где показывали таких персонажей, таких героев, о которых во время СМОГа знать не знали мы, о которых и подумать-то трезво, серьезно невозможно, — и все сошло, все сгодилось! — вот беспринципность, — вот, пожалуйста, — постмодернизм, в чистом виде, где все — с ног на голову перевернуто, искажено, подтасовано, огрублено, наизнанку нарочно вывернуто, где ни капли нет правды, зато — сколько хочешь, да хоть залейся, хоть возьми да и обожрись, разливанной, махровой лжи, говоря иначе — брехни, лишь бы только вышло такое, что, с натяжкой, похоже на что-то — ну а что? — да не все ли равно! — лишь бы вылезть с такой вот бодягой на поверхность, только бы выплыть, как известно что выплывает, вот и вся недолга, — смотрел я фильм — и с каждой минутой, все резче, все отчетливей понимал: вот оно — уже началось, и теперь они, и другие, скопом, все, потому что так проще, потому что так выгодней даже им, дешевкам рыночным, черни, — без меня обойдутся прекрасно, — отодвинут меня подальше, чтобы я не мешал им жить, постараются, поусердствуют, позаботятся обо всем, чтобы впредь меня просто — замалчивать, делать вид, что нету меня, то есть попросту — убивать, потому что убийство такое очень даже удобно для них, черни, всех, кто выплыли шустро стаей хищною на поверхность в дни весны демократии нашей и болтаются там, в этой луже, разлагаются, пахнут, гниют, но — тусуются и считают, что удача пришла

к ним, что крупно им, конечно же, повезло, что пришло их время и можно им теперь беззастенчиво лгать, подтасовывать факты, детали перепутывать, рушить легенды, издеваться, всегда — за глаза, над людьми, прошедшими ад, над людьми которым они и в подметки-то не годятся, и плевка их не стоят, — ну, что же! — все на пользу, — я так рассуждал и — смотрел, и закончился фильм.

Было там немало чудес. Право, «много у нас диковин».

Я когда-то, в шутку, писал Соколову Саше, что в дни, когда он вернется на родину, всем его по ТВ покажут непременно — на белом коне.

И почти угадал. И Сашу, не на белом коне, а рядом с белым конем, вплотную, — может, влезть на коня постеснялся? — или вспомнил слова мои? — показали, конечно. Кажется, в передаче Боровика. А на белом коне восседала молодая супруга Сашина, чемпионка Штатов по гребле, вся спортивная очень, подтянутая, суперстар, да и только, Марлин.

В фильме о СМОГе Саша Соколов, насколько мне помнится, рассказывал — и показывал — как в былые смогистские годы я учил его сопротивляться всякой дряни житейской и гадости — и упорно противостоять всевозможному, как бы оно ни стремилось мешать добру и какие бы козни ни строило в нашей жизни, мерзкому злу.

Был там Куб — Кублановский, которого молодые телевизионщики прямо в поезде где-то встретили, в день, когда, настрадавшись на Западе, возвращался герой в Россию.

Были — смутные персонажи.

Были — тени. И мельтешенье. Были — призраки. Были — фантомы. Было — много сплошной имитации. И конечно, вдосталь вранья. Было — с миру по нитке — собрано что-то этакое, неразумное, большей частью невразумительное. И понятно мне — почему. Потому что не было просто настоящих материалов. Отказал я телевизионщикам совершенно правильно, вовремя. Слава богу, что разглядел их. Понял, кто они. И — зачем нужен фильм их такой, о СМОГе. То-то, помнится, там, в Париже, говорил мне их администратор: «Вы, Володя, им все не показывайте и везде не водите их. Вы со мною объединяйтесь. Мы вдвоем такое закрутим! И поедем везде. И снимем все, что мы захотим, любые, позабористее да покруче, фильмы. Есть у меня возможности. И свое мы еще возьмем!» Говорил он — а я смотрел на него — и не верил ушам своим: Боже! — что же это за люди расплодились на телевидении? Уж действительно — ну и публика!..

Были в фильме — и чушь, и бред.

Были там — натяжки, провалы.

Были там — сплошные зиянья.

В фильме не было — правды живой.

В фильме не было — напрочь — горенья лет минувших наших. Даренья — жизни, мира, любви, поэзии — нам, тогда еще молодым.

В фильме не было вовсе — дыханья речи. Света. Звезд полыханья над безвременьем. Силы. Славы. Вместо СМОГа был — просто дым.

Там царил — Аркадий Пахомов. Шел по улице. Бородатый. Со значеньем смотрел. Молчал. За значеньем этим — смущенье и неловкость я различал. Помню, помню смогиста. Как же! Не на первых ролях Аркаша был, как это известно, в СМОГе. Крупным планом его! Крупней!

Насмотрелся я на персонажей фильма. Прямо как в чеховских пьесах, для театра абсурда созданных, что-то, каждый свое, говорили, вразной, вперемешку, вместе, по отдельности, что-то было вроде, с долей условности, действием, что-то — паузой, многозначительной, по задумке, но многозначительность, на поверку, ложной была.

Словом, всякого я навидался.

И — как только закончился фильм — стал звонить у меня телефон.

Чередую пошли звонки.

Мне звонили, звонили знакомые.

— Почему это фильм о СМОГе — без тебя? Безобразие просто! — возмутился Володя Брагинский. — Полный бред. И неразбериха. Да и путаница чудовищная. На Аркашу Пахомова смотришь — что такое он там говорит, запинаясь, — и создается впечатление поневоле, что именно он в смогистские годы всех и закладывал. Надо же соображать хотя бы немного, думать, что и как говорить. И вообще в голове у меня никак не укладывается — как это, вроде бы запросто, они без тебя обошлись? Неприлично даже. Противно. Ни стыда у людей, ни совести!

— Да так вот и обошлись! — отвечал я Володе. — Я вовремя понял, кто они, эти люди молодые, что делали фильм. И участвовать в нем — отказался.

— Молодец! — сказал мне Брагинский. — И правильно сделал ты, что отказался. А то ведь от такого-то безобразия так вот, просто, и не отмоешься. Во всяком случае, долго пришлось бы тебе отмываться. В непонятной этой компании тебе нечего делать, кум. Ты всегда был — сам по себе. И раньше, в период СМОГа. И сейчас ты тем более с возрастом, с тем, что создал ты, — сам по себе. Совершенно правильно ты поступил! Так я думаю. Так считаю.

А звонки ко мне — продолжались.

— Возмутительно!

— Безобразие!

— Что они себе позволяют?

— Что за чушь!

— Что за бред!

— Что за пакость?

— Что за мерзость!

— Что за маразм!

— Чем такое снимать, уж вовсе не снимали бы ничего. Неприятно смотреть.

Противно.

— Подтасовка!

— Обманка!

— Брехня!

И так далее, и так далее.

Отвечать всем я даже устал.

Все поистине были рады, что участвовать я отказался в этом фильме. Знакомые были — на моей стороне. Я был — прав.

Но вернемся в Париж. Пора уж. Я еще расскажу о Париже. Я еще расскажу о Париже. Я скажу о нем слово свое.

В этой книге, в других ли книгах он возникнет, живой и древний, влажный трепетный, нежный, гневный, ежедневный, вечный, чужой, чуть хмельной, но все больше — трезвый, и практичный, и деловитый, предрождественский, предрассветный, предзакатный, чудной, ночной, на разломе веков, на стыке двух эпох, двух тысячелетий, дух бунтарский, гнездо свободы, притягательный, шарм, шарман, се ля ви и шерше ля фам, шансонье, фантом, балаган, цирковой, роковой, жестокий, блестящий, верткий, крутой, широкий, круговой, словно горсть — вразброс, плеск воды и холма откос, птичий щебет, оград узор, зазеркалье, мираж, надзор, озаренье, сезон в аду, снег сквозь солнце, лоза в саду, в декабре-то — ну впрямь весна, звук и призыв, отзвук, стена, замок, призрак, тополь, каштан, фортепьянный раскат, обман, крик в тумане, призыв, завет, оклик робкий, неожиданный свет, путь сквозь время, блаженный зов, образ, кров, пробуждение слов...

Я бродил — один — по Парижу. Порою — виделся с давними своими знакомыми. С некоторыми. Далеко не со всеми. Зачем их искать? Набегут они сами, если надо им, если соскучились, повидаться вдруг захотели — на чужбине слегка пообвыкнув, но тоскуя все же по родине, без которой им трудно дышать, оказавшимся в безвоздушном или, может, бездушном пространстве, в равнодушной к этим пришельцам, не отзвучившей вовсе среде.

Было грустно мне почему-то — с этим Городом наедине.

Понимал я: да, мог бы, наверное, здесь я жить, как и все эмигранты, как-нибудь, со скрипом, с трудом, стиснув зубы, существовать. Но — и только? Нет уж, не надо. Это все — не по мне. Я — другой. Я такой, каким я и прожил все свои нелегкие годы — на своей, а не чьей-нибудь, родине. На своей, а не чьей-нибудь почве. Я всегда был — сам по себе. Навсегда останусь — таким. Изменяться мне ни к чему. И тем более — приспособливаться. Нет, увольте! Все это, братцы, не по мне. Каков уж я есть, весь, везде и повсюду, исполненный неизменно здравого смысла, как сказал очень верно и вовремя здесь, в Париже, Аполлинер, я пребуду и впредь. Всегда. Принимайте или не принимайте — ваше дело. А я буду только собой. Буду просто — собой. Буду жить и работать. Так надо. На своей, а не чьей-нибудь, пусть и вправду прекрасной, земле.

И однажды вспомнил я Эдика Лимонова. Вспомнил, поскольку жил он тогда — в Париже.

Перед отъездом, в Москве, кто-то мне дал зачем-то номер его телефона.

И я позвонил ему. Из Монжерона — в Париж.

Предложил ему как-нибудь, если будет возможность, встретиться.

Хотелось мне с ним повидаться.

Ведь столько уж лет прошло с тех пор, как покинул он родину, в эмиграцию отбыл, ринулся в свою заграничную, личную, лимоновскую, одиссею, а может быть — эдикосею.

Оказался Лимонов — дома. То есть там, где он обитал.

Где его настоящий дом — неизвестно. И есть ли он?

Лимонов со мной поздоровался, имитируя проблеск радости, от того, что слышит мой голос.

Но в его, лимоновском, голосе — уловил я сразу же фальшь.

Он вроде бы и обрадовался, показаться могло, — да не очень.

На мое предложение — встретиться, потому что приехал в Париж я ненадолго, вскорости мне предстоит уже возвращаться в Москву, и сейчас все вроде совпало, и он на месте, и я еще здесь и свободен, так почему же нам, двум старым приятелям, даже друзьям, как, во всяком случае, мне казалось в прежние годы, не увидеться, не побеседовать, ведь сам Бог, похоже, велел, — стал он мямлить что-то совсем уж бестолковое, невразумительное, а потом принялся отнекиваться, отказываться от встречи, изобразил усталость, пояснил, что вот, мол, ну только что, ну прямо сейчас, действительно, буквально сию минуту, возвратился он из поездки, стоит, весь такой утомленный, с дороги, разбитый, измотанный и тому подобное, в общем, никак не может, никак увидеться он со мной.

И я понял: он попросту врет.

Ему не хочется видеться, и все здесь ясно, со мною.

Может быть, ему просто страшно со мною сейчас встретаться.

Ведь я — из той, из отринутой, из прежней жизни его, проходившей на почве родной.

А он — он совсем другой. Стал другим. Изменился. Стал — здесь, в своей зарубежной жизни, тенью смутной, призраком, призвуком, отражением в зеркале треснувшем, да и только, — себя самого — не теперешнего, а былого.

Лимонов еще продолжал говорить что-то вовсе уже пустяковое, так, по инерции, механически, то есть просто заполняющее пустоту.

Но все уже было ясно.

Мне стало, конечно, грустно.

— Ладно, Эдик! — сказал я ему. — Не хочешь, как хочешь. Понятно. До свидания. Всего тебе доброго.

И положил телефонную, вмиг замолчавшую трубку.

И вышел во двор замка, к заглухнувшему фонтану. Закурил. Постоял на воздухе.

Во дворе было пусто, тихо.

В стороне пролетела со щебетом воробьиная бойкая стайка.

Загукали горлицы — надо же! — ну прямо как на Украине.

Я подумал о том, что другом никогда мне Лимонов не был. Притворялся, и только. Приятелем, да и то недолго, наверное, был. Скорее — знакомым был. Знакомым, который пользовался всюю — моей добротой. Знакомым, который преследовал только свои, лимоновские, выгоды — и свои, для себя, любимого, цели.

Я вспомнил тот день, когда я внезапно, остро, отчетливо почувствовал: он меня — предал.

Самым первым предал — из всех, многочисленных в прошлом, друзей — или тех, кого, по наивности, по извечной верности дружбе, совершенно искренне, твердо, я считал в ту пору друзьями.

Было это в Москве, весной шестьдесят девятого года.

Саша Морозов решил в квартире своей однокомнатной устроить мой вечер поэзии.

Много было в ту пору желающих послушать мои стихи.

Народу столько пришло, что всех разместить было негде.

Притащил Морозов из ЖЭКа несколько длинных скамеек.

Все устроились, разместились. Приготовились слушать меня.

Была там, в числе других слушателей, Наташа Иванова, стройная, худенькая, кареглазая, с длинными, дивными, каштановыми, прямыми, спадающими на плечи и на спину волосами.

Был там, конечно, Вагрич Бахчанян. Свои называли его — просто Бах. Он был очень хорошим художником.

Я сказал ему:

— Вагрич, ты оформил бы как-нибудь книги мои самиздатовские!

Бахчанян, взглянув на меня, сказал мне очень серьезно:

— Володя, ты ведь и сам хорошо рисуешь. Картинки у тебя, а я много их видел, замечательные, поверь мне. Свои книги ты сам разрисовывай. Лучше тебя никто никогда не сделает этого.

— Я и так свои книги стихов разрисовываю, и давно уже, и ты хорошо это знаешь, — сказал я тогда Бахчаняну.

— А вообще, Володя, надо тебе рисовать, — твердо сказал Бахчанян. — Ты делай свои картинки, но только — большие, цветные. Понимаешь? Большого формата. Уверю тебя, они интересными будут очень. Ведь и те картинки, которые ты рисуешь часто сейчас — абсолютно твои, особенные, узнаваемые мгновенно. Я считаю, что надо тебе уже всюю рисовать.

— Что ж, когда-нибудь, может, попробую! — сказал я тогда Бахчаняну. — Даст Бог, начну рисовать большие свои картинки!

Был там и Эдик Лимонов. Нарядный. В очках. С кудрями. В новом, красивом костюме.

Лимонову, в годы, когда он приехал в Москву из Харькова, много я помогал. Для него сделал много хорошего. Думаю, он все-таки помнил об этом. Такое не забывается. Всегда и везде я стремился делать людям добро. Вот и Эдику делал добро.

Саша Морозов призвал всех собравшихся сосредоточиться, поскольку время настало — и я начинаю читать. Почесывая свою густейшую и пышнейшую, самую первую в нашей компании дружеской бороду, посверкивая приветливыми, но и достаточно острыми, с лукавинкой, со смешинкой, с огоньком добродушным, глазами, он, высокий, худой, уселся скромно на задней скамейке, — чтобы другим не мешать.

Я встал у окна открытого, лицом к ожидающим действия желанного от меня, пришедшим для этого людям — и начал читать стихи.

И они меня — слушали, слушали, как всегда и бывало в далекие, навсегда ушедшие годы, поистине замечательно. Умели тогда современники — слушать своих поэтов. И — любили. Ведь время было не компьютерным, а орфическим.

Я читал и читал стихи.

Створка окна была, как уже говорил я, открыта.

Вдруг я почувствовал сзади, за своею спиной, какое-то движение непонятное, этакое шевеление, вкрадчивое шуршание.

Краем глаза увидел я, что Эдик Лимонов, очкастый, пышноволосый, в новом костюме, влезает в окно.

Находилась квартира Сашина высоко довольно, на пятом этаже. Откуда же Эдик так внезапно в окне появился?

Эдик влез между тем в окно, прыгнул на пол. И выразительно, вызывающе — вот, мол, я! — посмотрел геройски на всех.

И вот что было, скажу я, действительно поразительным: никто, совершенно никто из людей, в квартире присутствующих, его, из окна появившегося, просто-напросто не заметил!

Не увидели, не разглядели его, верхолаза лихого. Будто его, на чтении моем, и не было вовсе. Будто никто в окно только что и не влезал.

Эдик, бочком, потихоньку, сразу же стушевавшись, отошел с обидой в сторонку и там надолго заглох.

Вечер мой продолжался. Читал я довольно долго.

Никто из людей — не устал. Наоборот, все были рады стихам, все были даже по-своему счастливы. Потому что — действительно многое, очень многое для собравшихся в годы прежние, сложные, значила, всем дышать помогая, поэзия.

Наконец я устал. Напряжение было огромным, при чтении. И я перестал читать.

Слушатели мои, находившиеся под воздействием моего, как меня уверяли не единожды, гипнотического, с музыкой схожего, чтения, начинали, один за другим, приходить понемногу в себя.

Я вышел на кухню, чтобы спокойно там покурить.

Посреди тесноватой кухни стоял в одиночестве гордом народом недавно в упор не увиденный Эдик Лимонов. Он был бледен и возбужден.

Он сразу же стал мне рассказывать, как он, сам не зная зачем, надумал во время чтения моего вот отсюда, из кухни, потихоньку пройти по карнизу — и, поскольку было открыто окно в единственной комнате квартиры, вдруг появиться из окна, нежданно для всех, по-геройски, перед народом. Хорошо, что прошел удачно. Все-таки высоко. Пятый этаж, между прочим. Доказал самому себе, что ведь может презреть опасность. Вот к чему, если вкратце припомнить, сводился его рассказ.

— Хорошо, что ты цел! — сказал я Лимонову. — Ты такой, раз уж что-нибудь ты надумал непривычное сделать для всех, то непременно сделаешь. Ты у нас натуральный герой. Или будешь героем. Вскорости.

— Но почему, почему все они не обратили на меня никакого внимания? — вдруг, придвинувшись ближе ко мне, выкатив под очками глаза, да так, что белки налились густеющей кровью, а зрачки, потемнев, расширились, не с обидой даже, а зло, с возмущением, с яростью дикой спросил меня Эдик Лимонов. — Я ведь на высоте пятого этажа прошел по карнизу узкому, вплотную к стене, из кухни перешел осторожно до комнаты, влез в окно, появился в комнате, перед всеми, кто там находились, — и меня никто не увидел, и меня никто не заметил! Будто не был я там. Почему?

— Эдик, — сказал я спокойно, — люди стихи мои слушали.

— Ну и что? — спросил Лимонов.

— Люди так стихи мои слушали, что тебя они — не заметили.

— Так! — сказал Лимонов. — Так, так. Понятно. Значит, они просто меня не увидели?

— Конечно! — сказал я Лимонову. — Сам понимаешь. Люди были — там, в стихах моих. Все. Я-то тебя краем глаза увидел, не сомневайся, когда ты в окно влезал. Но тоже не удивился, Потому что переключился сразу же на стихи. Ты ведь знаешь уже давно, что когда я читаю, то заново все это переживаю, будто стихи пишу снова, здесь же, во время чтения. Видимо, я тогда нахожусь в состоянии транса. В это время, пока читаю, живу я только поэзией. Так и слушатели мои. Они, когда я читаю стихи, очевидно, выходят на волны мои и частоты. Словно ко мне подключаются. И тоже во время чтения моего находятся там, где и я, в поэзии, в речи.

Лимонов, стоя напротив, молча смотрел на меня.

И тут я увидел вдруг, что на его лице непрерывно, быстро сменяются, как в странном калейдоскопе, разные, возникающие один за другим цвета.

Бледность сменилась багровым, резким, кровавым румянцем, потом — какой-то противной потусторонней прозеленью, потом — густой синевой. А потом лицо его стало опять неестественно бледным. Снеговым. Известковым. Холодным. Деловым. Неподвижным. Гипсовым. Отчужденным. Скорее маской, чем лицом. Подобием лица.

И тогда, мгновенно, я понял: он меня — возненавидел. Ревность прежняя, зависть прежняя — к славе моей в те годы, к тому, что был я всегда на виду, что знали меня, что ценили меня, любили, уважали, — все это стало пустяками, да просто семечками, по сравнению с новым — с ненавистью.

Так я понял его тогда.

Знаю твердо, что не ошибся.

Потому что чутье мое никогда меня не подводило.

Потому что я видел — знак.

Потому что смотрел — насквозь.

И в дальнейшем, ясное дело, все, что понял я, — подтвердилось.

Тот, кого я считал своим другом, был мне вовсе не другом. Вот так.

Но довольно, пожалуй, считаю я сейчас, говорить о Лимонове.

Как бы ни вел он себя, что бы там ни вытворял, — образ его, молодой, тот, без личины, без маски, — мне симпатичен. И даже, с грустью думаю я, — дорог. Да, дорог. Чем же? Тем, что в былые годы чище был Эдик душой. Может быть, это мне кажется. Может быть, просто мне хочется видеть его таким. Пусть. В мои зрелые годы меня уже не переделаешь. В людях я продолжаю видеть только хорошее. Даже если они меня забывают — или норовят нанести мне рану, да поглубже, да побольнее, — или даже если они, откровенно, цинично, сознательно и жестоко — меня предают. Бог — все видит и все сохраняет. Есть закон причины и кары, древний, русский. Память — со мною. Человеком — непросто быть.

Тогда же примерно, в период моей невстречи с Лимоновым, один мой знакомый привез мне из Парижа в подарок от Эдика его книгу «Великая эпоха». Не на русском, а на французском языке. С такою вот надписью:

Другу Володьке от Лимонова. Мы живы и все в порядке.
Э. Л.

Если это все-таки правда — то пусть будет так. Хорошо.

Что ж — Париж?
Остается лишь вспомнить...

Парижской устрицы лимонно-стылый вкус, неоценимое звучанье цевницы-улицы, — раченье и ворчанье, теченье властное, свеченье и венчанье, осколки времени, как россыпь влажных бус. Париж — каштановый, лиловый, озорной, с клубникой алою на доньшке заветном, вином расплескивает с возгласом победным все то, что холодом туманило рассветным, а после станет спянным со мной. И нет уверенности в том, что доберусь туда, где кто-нибудь да ждет меня, пожалуй, поскольку где-нибудь с морокой небывалой столкнусь когда-нибудь — и с мукою немалой от этой сутолоки разом оторвусь. А света белого достаточно для всех — и мир для всех готов раскрыться подарком праздника, чтоб сердцу в детстве биться, чтоб чуду сбыться, зренью излечиться, припомнив таинства рождественский орех.

...Фаска. Лезвие. Кромка. Грань. Синеватый, жемчужный, лиловый, — сон ли, горд ли, старый и новый? — взгляд с прищуром в такую рань, что звезда еще дышит рядом, — и восходит заря над садом, — и над морем протяжный свет, словно весть из минувших лет, доносясь, разливаясь шире, станет песнью благою в мире обо всем, чем душа жива. Край столетия. Птица Сва.

* * *

...Величанский встает — как лев Пиросмани — в кругу дерев. Львиный знак и полдневный пыл. Час полночный — в кругу светил. Звук подспудный — и зоркий взгляд. Рай вчерашний — и вечный ад. Свет столичный — и след во мгле. Снег привычный — в земном тепле.

В восемьдесят девятом году, на заре свободного книгопечатания, в Москве, с трудом привыкая к такой вот, доселе непредставимой, небывалой, чуть ли не сказочной, но, по новым-то временам, совершенно реальной возможности, я готовил к изданию свою книгу «Отзвуки праздников».

Саша Величанский пришел однажды в гости к Толе Лейкину. Рукопись книги, недавно перепечатанная мною, лежала у Толи, не в пример временам былым, с их опаскою постоянной за судьбу самиздатовских сборников, с их оглядкой на все подозрительное, с неизменными предосторожностями, открыто, без конспирации, без ненужной теперь маскировки, на виду, на рабочем столе.

Величанский увидел рукопись и обрадовался тому, что давняя книга моя наконец-то, с таким запозданием, после стольких мытарств, историй, все же выйдет вскорости в свет.

Это был большой том, к сожалению — неполный, потому что у меня под рукой в нужную пору, когда все бумаги мои вдруг понадобились, не оказалось многих тек-

стов, раскиданных в прежние годы по самым разным, знакомым и случайным, таким уж, какие возникали в поле зрения посреди хронических бездомниц и вынужденного перемещения с места на место, в поисках угла, простейшего приюта или всего лишь ночлега, домам, в различных городах, любимых и тягостных для меня, куда приезжал я ненадолго или надолго, чтобы снова ехать куда-то, находиться в движении, чувствовать ритмы времени и души.

Некоторые из таких отсутствующих вещей, нередко сильных, значительных для моего развития, необходимых для понимания пути, давно привыкнув к утратам, я уже склонен был считать утерянными.

А время поджимало. Время было действительно дорого.

Меня поторапливали. Промедление любого рода исключалось категорически.

Поэтому я и решил подготовить, для начала, книгу из тех стихотворений и больших композиций, которые имелись у меня, в единственном экземпляре, в виде груды истрепанных листков с густой машинописью, и поистине чудом уцелели посреди моих скитаний в семидесятих.

А там, рассудил я, видно будет. Все, глядишь, еще образуется, как всегда у меня, само собою. Может, что и найдется. Верить в это хотелось бы. А то, даст Бог, и сам я, по памяти, как это и прежде не раз и не два бывало, восстановлю недостающие тексты.

Все в дальнейшем так и случилось. Некоторые стихи — нашлись. А большинство текстов я восстановил, когда у меня открылась вторая память, уже в девяностых, в Коктебеле.

Книга же в неполном виде вышла — и существует, сама по себе, независимо от меня, какая уж есть.

А тогда, у Толи, Величанский листал мою рукопись. И многое в ней — узнавал.

«Отзвуки праздников» — это целый творческий мой период, интересный, насыщенный, сложный, важный для меня, барочный, как я его обычно называю.

И так уж получилось, что период этот, напряженный, чрезмерно бурный, драматичный, парадоксальный, даже фантазмагорический, время это, для меня откровенно тяжелое, с испытаниями на прочность, на выживание, героическое, жестокое, на упрямстве, на творческой воле, но и прекрасное, безусловно, в новизне своей всей, в праздничности, вопреки бесчисленным трудностям, да еще потому, что сумел я выжить, выстоять, созидать, — были в чем-то нередко, прямо ли, косвенно ли, больше ли, меньше ли, связаны с Величанским.

Тогда мы часто встречались — в Москве, поскольку оба мы там обитали, и в Питере, потому что оба мы то и дело туда приезжали.

В дружеских тесных компаниях оба мы читали стихи свои. Подолгу и помногу беседовали. И беседы такие были чрезвычайно важны для обоих.

Были внимательны к творчеству друг друга. И внимание это былое, бережное и пристальное, подчеркнуто доверительное, искреннее, нечем теперь заменить.

Были оба еще относительно молоды, я — помладше, Саша — постарше по возрасту.

Но судьбы наши и пути в эти годы нередко соприкасались. Перекрещивались, расходились — и опять, нежданно и радостно, где-нибудь, как-то вдруг, совпадали.

Стихам-то Саша обрадовался. А вот всякие тексты обо мне, сопроводительные, в основном — краткие, вроде высказываний, изредка — подлиннее, с попытками вникнуть в суть моих сочинений, написанные различными людьми, предназначенные для того, чтобы читатели, ознакомившись с ними, помещенными на обложке или сгруппированными в виде послесловия, получили некоторое представление обо мне самом, авторе самиздатовском и в этом качестве давно и широко известном в определенных кругах, но в то же время фигуре весьма загадочной для прочих, для читающего большинства,

потому что на родине слишком долго меня не издавали, и о том, что я, собственно говоря, за многие годы работы сделал в русской поэзии, — огорчили его и даже возмутили.

— Вовсе не так надо писать о Володе Алейникове! — сказал он Лейкину. — Давай-ка, если ты не возражаешь, я возьму рукопись домой, изучу ее хорошенько — да и напишу о Володе. Сам.

Толя, конечно же, не возражал. Был он этому только рад.

Летом я по традиции жил вместе с детьми в Кривом Роге, в родительском доме.

Пришло письмо из Москвы. От Величанского.

Большой, белый, с моим украинским адресом, именем и фамилией, написанными острым, резким, быстрым Сашиным почерком, плотный конверт. В нем, помимо письма, — машинопись Сашиной статьи обо мне — предисловия к «Отзвукам праздников», и назывался этот текст — «Грядущий благовест». Он теперь напечатан — и в книге моей, и в журнале «НЛО». А тогда, в тишине, в глуши, в отдалении от столицы, среди щебета птиц и шелеста приникающей к окнам листвы, — я читал его и перечитывал. Понимал я, что Величанский сумел сказать обо мне так, как не скажет никто. На склоне столетия думаю: не скажет уже никто.

И письмо ведь было хорошим. Очень его, Сашиным.

Приведу его здесь. Хочу Сашин голос услышать вновь.

Здравствуй, Володя.

Посылаю тебе результат размышлений над твоей работой, студии которой доставили мне истинное удовольствие.

Уверен, тебя не смутит то обстоятельство, что стремление к осмыслению превалирует в моих заметках над желанием делать оценки. Надеюсь также, что тебя не покоробит стилистика «объективности» суждений. Никакой объективности, как ты понимаешь, не существует в природе. В применении же к поэзии она и вовсе неуместна, ибо всякое «изучение» поэтического явления всегда предельно неадекватно своему предмету. В этом смысле, бесстыдно субъективные суждения в лучшем случае неинтересны. Видимо, по отношению к стихам всегда уместней Евангельское «Да-да», «Нет-нет». Однако, такая позиция есть и благовидна, но исключает всякую возможность говорения о стихах. Я взял этот «объективный» фон, главным образом, для того, чтобы не опускаться до презираемых мной красотей так называемой «прозы поэтов», а также потому, что мне хотелось выдержать определенную «имперсональность» в изложении своих соображений, чтобы никто не мог сказать — вот, мол, что Сашка Величанский сочинил о Володьке Алейникове. Дай, Бог, тебе найти в статье что-нибудь созвучное собственным представлениям о своих стихах (вот увидишь, найдешь!). Впрочем довольно о статье, а то может сложиться впечатление, что я компенсирую что-то недоговоренное в ней.

Всего тебе наилучшего. Отдыхай, работай, крепчай, будь. Поклон твоему дому, в котором не нумерованы квартиры (!), здоровья твоим детям и присным.

Обнимаю.

А. Величанский.

22.7.89

Летом восемьдесят девятого я читал недавно вышедшую Сашину книгу «Удел», подаренную мне им еще в Москве.

Книга эта издана была довольно быстро и грамотно, с помощью друзей Величанского.

Простая, светло-серая, лаконичная, без всякого украшательства, с одной только узенькой, напоминающей витой шнур, аккуратной рамочкой, несколько в духе дореволюционных изданий поэтических сборников, от советских книжек отличающаяся резко, подчеркнута, потому и запоминающаяся обложка; белая бумага, четкий

шрифт, сто двенадцать страниц всего — но текста много, потому что стихи набраны в подбор, одна вещь за другой, а не по одному стихотворению на странице, и понятно, что сделано это для экономии бумаги, чтобы в пределах ограниченного объема поместить побольше стихов, — но зато все хорошо читается, и книга элегантно, строга, скромна, и главное ее достоинство — это ее содержание, то есть отличные Сашины — избранные им, с шестьдесят девятого по семьдесят третий год, — и мне, и многим другим людям давно уже известные по самиздатским сборникам, которые перепечатывал вначале сам Саша, причем печатал он на машинке одним пальцем, средним пальцем правой руки, по выработавшейся у него давным-давно привычке, но довольно-таки быстро, на половинках листа писчей бумаги, мною, тоже по привычке, называемых четвертушками, на одной стороне, через самый маленький интервал, по одному стихотворению на каждой странице, и складывал эти листочки в книжки, делал к ним обложки из плотной бумаги, порою сам оформлял их, разрисовывал, и раздавал, раздавал несколько экземпляров таких книжек друзьям, любителям поэзии, и те, в свою очередь, тоже перепечатывали их и распространяли, и все это было привычным для всех делом, — и теперь напечатанные, как полагается, по традиции гутенберговской, по всем или почти всем правилам, — стихи...

Тогда, на радостях, предварительно созвонившись, я приехал к нему — и купил у него, в дополнение к подаренному экземпляру, целую пачку книг, довольно-таки большую пачку, аккуратно упакованную в бумагу и перевязанную шпагатом в типографии, еще не распечатанную, не помню, сколько экземпляров туда входило, но было их немало.

И потом, имея в своем распоряжении этот небольшой арсенал, с удовольствием, но еще и сознательно, чтобы знали, чтобы читали, дарил их своим друзьям и знакомым в Москве, в Кривом Роге, в Коктебеле, вручал их лично, посылал бандеролями, в другие города и за границу, и очень скоро так все и раздарил.

От метро, как обычно, я доехал на автобусе до высокого, башнеобразного, углового дома на Ленинском проспекте.

Поднялся на скрипучем лифте наверх, на нужный этаж.

В квартире Саша был один.

В коридоре и в обеих комнатах высокими стопками лежали на полу многочисленные экземпляры его книги, наверное — изрядная часть трехтысячного тиража.

Саша был очень худ, непривычно бледен, как-то слишком скуласт, но еще достаточно энергичен, хотя и не столь уж импульсивен, подвижен, взрывчат, как в прежние годы.

После двух перенесенных им инфарктов приходилось ему, судя по всему, несладко. В разных местах квартиры я заметил приготовленные на всякий случай лекарства.

Однако Саша держался. Привычное определение. Для всех нас традиционное. Без лишних слов. Неизменное.

Слишком просто сказать — «держался». Но именно так об этом и надо теперь сказать.

Не храбрился, не хорохорился, нет. Зачем? Ни к чему все это. Удивлять никого не хотел он. Храбрость была — в другом.

Он трезво осознавал свое положение, свое состояние. Он именно — держался. Упрямо. Стойко. По-мужски.

Дракон по тотему и лев по созвездию своему, был он крепкой закваски и внутренней силы человеком, он был — с характером, твердых правил и принципов, честным, и в поэзии, и в повседневности, человеком, личностью был.

Он был — прежде всего — поэтом.

Никогда никого — не предал. Никогда никого — не подвел. Был предельно четок в своих установках жизненных. Мог правоту свою твердо отстаивать.

Был таким, каков есть. Величанским. То есть просто — самим собою.

Дружбе верен был. Жил — поэзией. Свет. Огонь. Цену он себе — знал.
Мы тогда, по старинке, неспешно, говорили с ним. И — молчали. И — смотрели в глаза друг другу.

Видел я его рядом, друга, в тот приезд свой — нет, не в последний, но — да, так, — в предпоследний раз...

И я говорю:

— Трудно, Саша, мне быть — одному. В пляде ли своей, в других ли каких сообществах, собраниях, сборищах, среди людей, особенно — пишущих, среди литераторов — так называемых в основном, потому что причастность их к литературе — мнимая, это просто игра такая, привычка, инерция, необходимость — как за соломинку, цепляться за эту самую их якобы причастность к литературе отечественной, и все больше становится это с годами — просто игрой, неким времяпровождением в тусовках, где есть необходимый элемент игры, все реже, впрочем, различимый — посреди всеобщей меркантильности, в страшную пору притворства, цинизма, расчета везде и во всем, смены масок, личин, привыкания к лживой подмене ценностей и основ — драным антуражем вроде бы карнавального, а на поверку — просто повального хаоса, где слово брошено на произвол судьбы, где речь вывернута наизнанку, где понятия поставлены с ног на голову — и все это длится, длится, тянется, продолжается, без всякой меры, без правил, без малейшей оглядки на правду, мечется, как заведенное или, скорее, запрограммированное и осуществленное кем-то, кто не виден и не слышен там, но чье незримое и жуткое присутствие всегда там ощутимо, — вот и морок, и бред, и развал, все — в обнимку, все — разом, все — в стае, ну а лучше сказать бы — в стаде, вот и все, что живет — распадом, разрушеньем, плодится, длится, процветает в своем ничтожестве, хорохорится, фразерится, начинает мнить о себе уж такое — куда там! — всем им недосуг разобраться в себе, в том, что пишут, что натворили, в том, что всюду они говорят — механически, без раздумий о причине кошмара, без мыслей о последствиях каждого шага, без догадок о будущем их — то есть полном отсутствии, полном, такового, — но что с них взять! — о, скольжение их по наклонной, где-то там, в завитке спирали, среди волокон узла тугого, — не дано им его развязать.

В одиночестве давнем своем — там ли, среди безвременья, когда все мы еще хоть как-то, пусть изредка иногда, но зато уж по-человечески, с толком, с сердцем, с душой, общались — виделись, говорили, читали друг другу стихи, потому что внимание — было, да бывало и пониманье, — ныне ли, в междувременье, в отдаленье от какбы-временной ахинеи и белиберды, на грани века безумного, на кромке тысячелетия, на краешке милой земли, у моря, здесь, в Киммерии, — привык я как-то справляться с отчаяньем и с тоской, привык вспоминать о прошлом — и видеть в нем что-то хорошее, и слышать в нем тайную музыку веры, надежды, любви, привык я думать о днешнем и принимать его, все, целиком, такое, как есть, — а как же иначе? — привык я видеть такое, чему выраженье — в слове, в речи своей, находить стараюсь, насколько возможно, как уж там получается, и все это — рядом со мной, во мне самом, в ежедневном, ежеминутном ритме — творческом, безусловно, затворническом — так уж вышло, жреческом — полагаю, провидческом — иногда, певческом — неизменно, отшельническом — пусть и так, но это — мое, и с ним я дышу намного свободней, нежели там, в скоплениях людских, в суете мирской, и все это — жизнь, в которой и радость порой приходит на смену хандре и грусти, и свет на пути встает.

Быть может, опередил я век свой, вырвался в завтра — и вот взираю оттуда на все, что прозрел давно. Быть может, планида такая — и что мне поделать с нею? — жить, как и жил, смиренно, ждать — внимания к себе. Жертвенность, гордость, крепость!

Вызолочен на синем легкий листок в пространстве, чтобы, сквозь время, — в лет! С новой весною — новый легкий листок на ветке зазеленеет, новый свет различит щедрот. И то, что в тягость мне — схлынет, уйдет навсегда, исчезнет, растает где-то, затихнет, — лишь слабый отзвук вдали порою оттаает, вздрогнет, поймет: его не забыл я, — и молча глядит оттуда, как будто из-под земли.

Вижу Сашу Величанского — рослого, длинноногого, худого, даже очень худого, но не анемичного, а как раз мускулистого, жилистого, подтянутого, с короткими кудрями, с глазами, раскрытыми в мир, то веселыми, с искорками, то сощуренными, глядящими куда-то внутрь себя, в такую глубь, куда никому, даже приятелям, доступа не было, вижу его все время в движении, в постоянном движении — резко встающего с места, срывающегося с места и устремляющегося неизменно вперед, стремительно идущего по улице, мгновенно реагирующего на любую сказанную фразу, динамичного, порывистого, задумывающегося — так всерьез, говорящего — так уж интересно, переполненного энергией, молодого, после службы в армии поступившего в университет, — осенью шестьдесят четвертого, среди листьев и окон, днем, в сентябре.

Он сам подошел ко мне — чтобы познакомиться. Происходило это на «психодроме», во двореке МГУ, на Моховой.

Тогда, как ни странно это сейчас звучит и как ни грустно мне говорить об этом, был я уже известен как поэт. Меня знали в Москве. Да и здесь, в университете, ко мне постоянно подходили — знакомиться, звали куда-нибудь — почитать стихи, просто хотели — пообщаться. Я уже стал даже к этому привыкать. Приятно, конечно. Известность. Впрочем, было это лишь самое начало давней моей известности. Я не носился с собой как с писаной торбой. Нос вовсе не задира. Был таким, каков есть. Просто — самим собою. Выгод никаких из этого и не думал для себя извлекать. Наоборот, нередко испытывал неловкость. Даже смущался. При всей своей тогдашней общительности — внутренне оставался замкнутым.

Сашу же тогда еще никто не знал. Ну, может, почти никто. Были ведь у него приятели, знавшие о том, что он пишет стихи. Но те люди, с которыми я постоянно общался, его пока что не знали. Ничего. Вскоре — узнали. Я постарался его со многими познакомить. Сашиней известности в ту пору еще только предстояло быть. Она едва начиналась. Но она состоялась. И я этому только радовался.

Итак, Саша подошел ко мне — знакомиться. Мы пожали друг другу руки. Разговорились. И вдруг показалось мне, что я давно, хорошо его знаю. Более того — доверяю ему. Принимаю его — таким вот, каков он, Величанский, есть, полностью, без всяких оговорок.

Важно, что буквально на следующий день и Саша сказал мне напрямую, что сам он тоже ощутил какое-то особое родство со мною. А что тут удивительного? Все дело было в поэзии и в том, что оба мы жили ею.

В тот раз, в день знакомства нашего, мы, конечно, читали друг другу стихи. Но как же — без этого? Было это, наверное, что-то вроде визитных карточек. Почитали друг другу — и многое стало ясным. Само по себе. И слов никаких лишних не потребовалось.

Ах, что это за время было — когда стихи жили в устном исполнении, воспринимались — с голоса! Орфическая пора. Такое — не повторится. Хорошее бывает только раз.

Он почитал мне — свое. Я почитал ему — свое. И началось — общение. Творческое. Настоящее. Да нет, наверное — дружба. Особая. Дружба поэтов. Отчасти — соревнование. Больше — потому, что не общаться мы просто не могли. Конечно, это судьба. Разумеется, этого просто не быть не могло. Свыше было сказано — быть! Вот поэтому мы оба мы и восприняли это как должное.

Величанский был старше меня на пять с половиной лет. Разница в возрасте вроде бы и подразумевалась, но не декларировалась. Мы всегда общались на равных. Да еще, если вспомнить, как рано я начал писать стихи и как быстро сформировался как поэт, разница в годах и вовсе исчезала, за ненадобностью. Жили мы — настоящим.

Саша был человек совершенно московский. И хотя и родился он в Греции, оторвать его от столицы было невозможно. Парень из благополучной советской семьи. Из московской «золотой молодежи». Отец — журналист-международник, со своими заграничными, положением. Английский язык — ну прямо как русский. Повадки, замашки. Компании. Пьянство — масштабное, крупное. Помимо университетских занятий на истфаке — неутомимое самообразование.

Многое приходилось ему наверстывать после армейской службы где-то в Белоруссии, в лесной глухомани, в ракетных частях, где московская Сашина компания — Петя Шушпанов, Вадик Гинзбург, еще кто-то — пребывала, как в потустороннем мире, держалась дружной, сплоченной стайкой, выживала, как умела, как получалось, пила самогон и прочие напитки, пила регулярно и крепко, так, что, например, когда выпадала возможность побывать в соседнем селе, то Шушпанова, уже надравшегося так, что больше не было смысла добавлять, дабы он не потерялся где-нибудь по дороге, они просто зацепляли его собственным ремнем за забор, вывешивали, так сказать, на воздух, а сами отправлялись в свой поход и по возвращении в воинскую часть проспавшегося Петю с забора снимали, — впрочем, о периоде армейской службы московских приятелей куда лучше сказано в романе Шушпанова «Вброд через великую реку», до сих пор не изданном, а давно бы надо сочинению этому славному свет увидеть, — итак, после армии нужны были Саше — знания.

Он очень много работал. Помню его ранние сборники, подаренные мне. Стихи короткие, жесткие.

— Сегодня возили гравий. И завтра — возили гравий. Сегодня в карты играли и завтра — в карты играли. А девочки шлют фотографии, и службы проходит срок. Вот скоро покончим с гравием и будем возить песок.

Ну, это все знают. А вот:

— Выточил финку себе из напильника. Мне не в новинку — снова напился я. В клубе строителей хилому фраеру к радости зрителей в ребрышки вправил я. ...Но светит мне — и не зацапали даже в свидетели.

Или такое:

— Трубят трубы гарью, над городом горечь. Идут хулиганы — за корешом кореш. И в черных машинах, зашторив оконца, кто делал ошибки — садовые кольца?

Что это? Каково? Столичный интеллект. Дома — гора книг на английском языке. А тут — прямо от Холина что-то. Ну, пусть от старого Кропивницкого. Но все-таки...

Были это — подступы к самому себе. Пробы. Именно так назвал Саша крошечный этот раздел ранних стихов в сборнике «Удел», изданном с помощью друзей много позже.

— Как в отсутствие Одиссея Пенелопа себя вела? — женихи ее так и сели, так и бросили все дела. Только солнышко над Элладой — ткет старуха что было сил, а им теперь ничего не надо — лишь бы выпил и закусил.

Саша много писал и неуклонно двигался вперед. Рос. Да, безусловно. Собственные интонации прорвались уже вскоре.

— Не какой-нибудь там, а простой парусиновый парус, и порядковый номер, и буква на парусе том, паруса задыхались, как люди, как люди, трепались и белели, как люди, на синем, потом на седом.

Потом было:

— Кто, — спросили у меня, — знает этого коня? Я ответил, что скорее, вероятнее всего это знают два еврея, два прекрасных еврея из картинной галереи возле дома моего.

Много чего было — потом.

— Я бы жил совсем иначе. Я бы жил не так, не бежал бы, сжав в комочек проездной пятак. Не толкался бы в вагоне, стоя бы не спал. На меня бы двумя ногами гражданин не встал. Я бы жил в лесу усатом, в наливном саду этак в тыща восьмисотом с хвостиком году. И ко мне бы ездил в гости через жнивь и гать представитель старой власти в карты поиграть.

— Закат за асиновой сетью померк. И лед выступает дыханья поверх. И яркая щель, что ведет в магазин, все ярче — с исходом небес и осин. И снег заскрипел высоко в небесах и падал потом, попадая впросак, как в чашку лохматую сахар-песок — исчез на губах, на ресницах просох. Озимые люди по избам сидят. Спасибо, соседи когда посетят: ведь время — не сахар, и сердце — не лед, и снежная баба за водкой идет.

— Мои стихи короче июньской белой ночи, но долгим свежим сумраком окружены они. И вы о них мечтали среди стекла и стали в казенные безжизненные дни.

Саша сидел за пишущей машинкой, печатал один самиздатовский сборник за другим. Он тоже, как и я, писал не отдельные стихи, а книги, мыслил — книгами. Как они складывались у него — не знаю. Да и вообще, это тайна. Личная. Творческая. Главное, что книги он писал. Все новые. И образовался у него постепенно свой круг. Свои у него были — ценители, поклонники. Свои задачи — в поэзии.

— Крепчайшую вяжите сеть, но бойтесь умысла, улавливая суть (у истины запаса нет съестного: у истины судьба — на волоске висеть). Пусть вытекает слово, как море из улова, забыв свою оставшуюся сельдь.

— Ничего, ничего, еще будет в чести эта малость тепла в человеческой горсти — стает снег под твоею озябшею тенью — только ты не забудь, не отчаивайся и прости. Ничего, ничего...

Он, кажется, бросил потом университет. Но все его знания, обширные, были при нем. И талант его был очевиден.

— В продолжении рода спасенья себе не ищи: нищету своей памяти ты завещаешь потомкам — и не видят они, как ты медленно таешь в ночи — на глазах исчезают, окутаны временем тонким. Никого не вини. Никому не печалуйся в том. Одиноким виденьем становится жизни истома. А кругом — тот же скарб, тот же скрип у дверей — тот же дом, тот же скверик с детьми перед окнами зримого дома.

— Лист оборвавшийся в каменном городе кружит. В каменном городе — синие стекла да камни. Камнем упала огромная первая капля в полуистлевшие старые пыльные лужи. Красный трамвай через мост продвигается синий. Черная очередь вьется у желтой палатки. Серые листья на землю лиловую падки. Водки зеленой куплю поскорей в магазине.

— Ты не плачь, моя прекрасная, я молиться научусь, чтоб печаль твоя безгласная полегчала хоть чуть-чуть. Ты не плачь, моя печальная, — это мне не по плечу — чистым золотом отчаянья я за это заплачу.

— Столько нежности сжалось во мне, столько горькой тоски по тебе я вобрал в свою душу, что порой удивительно даже, как ты можешь еще оставаться вовне, как ты можешь еще оставаться снаружи — на чужбине ноябрьской стужи, на бульваре пустом с ледяною скамьей наравне.

— За одиночество, мой друг, нам надо выпить — годы вхожи к нам запросто теперь, и ворох шуб и пьяный шум исчезли из прихожей. По улицам бегут весельчаки, к гитарам прислоняются губами, и девочки чуть теплыми губами улыбок открывают тайники. Лучатся фонари. И скоро — полночь. Итак, за одиночество, мой друг, единственное, может быть, единство. За время, удлиняющее ночь.

— Я научился плавать — знаешь где? — в эгейской Одиссеевой воде, да, по которой плыл к своей беде царь Агамемнон в наказание — и ветер нес обрывки кос Кассандры-кликуши, а на Патмосе пророк лежал ничком. Пророческая пена — предтеча будущего пепла теснила берега ребяческий мирок... Два дюжих югослава, раскачав, меня в прибой швыряли, и волна мне помочь старалась выбраться на камни, еще чуть теплые сначала, стгоряча. Неподалеку от Афин, в воде не чуя огненного сплава, узнал я, что уменье плавать в том, что плывешь один.

Работал — как все. В сторожах, частенько. Ну а когда стихотворение «Под музыку Вивальди» стало песней и песню эту начали часто исполнять, — некие скромные гонорары за исполнение песни приходили ежемесячно, равные примерно зарплате сторожа, — но и это ведь было кстати.

— Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, под музыку Вивальди, под вьюгу за окном, печалиться давайте, давайте, давайте, печалиться давайте об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко, вы слышите, как жалко и безнадежно как! Заплакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И всем нам стало ясно, так ясно, так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы когда-нибудь, Бог даст. И только ты молчала, молчала... молчала. И головой качала любви печальной в такт. А после говорила: поставьте все сначала! Мы все начнем сначала, любимый мой... Итак, под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди, под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы и вьюги завыванье условимся друг друга любить что было сил.

Потом начались переводы. Константинос Кавафис. Вот, например. «Фермопилы».

— Честь и хвала всем тем, кто в этой жизни обрел и защищает Фермопилы. Кто никогда не поступался долгом, кто справедлив равно во всех деяньях, но справедливостью печальной, милосердной; кто щедр в своем богатстве и тогда, когда он беден — щедростью врожденной, готовностью всегда помочь посылно, кто только правду говорит и все ж сам не унижен ненавистью к лгушим. Честь еще большая им подобает, если они предвидят (а ведь многие предвидят), что под конец возникнет Эфиастис и что мидийцы обойдут их все же.

Даже Шекспир. Почему бы и нет? И Шекспир. Чтобы в русской речи он жил. Чтобы голос Величанского он обрел — в небывалой полифонии, в переключке всех голосов, говорящих по-русски за него, в каждом случае — неизменно — по-новому, с каждым новым столетием — продолжающих говорить, ибо сущность поэзии есть движение во времени и пространстве, в любых измерениях, в любых направлениях, везде, где всегда она дома и в гостях у души, ибо свет его слова долговечней иных. Переключка так переключка. Переводы есть переводы.

И все последующие годы — стихи, стихи, стихи.

А тогда, в сентябре шестьдесят четвертого, помню, Саша впервые приехал ко мне на Автозаводскую — и читал с листа мою осеннюю книгу. Сохранилась она, к сожалению, не полностью. Изрядную часть в тяжелые минуты, о которых неохота вспоминать, я уничтожил. Саша читал мои стихи, впиваясь в каждую страницу взглядом. Читал — не просто усваивая, но — осмысливая. Входя в мой мир.

Несколько позже, зимой, там же, в комнате на Автозаводской, читал он начальные композиции моей книги «Декабрь — май». Вещи это сложные, в достаточной мере мистические, в чем сам я до сих пор убеждаюсь. Непривычными, слишком уж новыми, непохожими на все остальное, с их спиралеобразным построением, пластикой, синтезом, казались они тогда людям. Вот и Саша вчитывался в тексты — с напряжением. Но вскоре, похоже, понял по-своему эти стихи.

Еще позже, осенью шестьдесят пятого, он с огромным вниманием читал только что написанную мою книгу «Лето 65». И попросил у меня экземпляр книги, на время, домой. И там засел за машинку — и принялся ее перепечатывать. И такой вот процесс усвоения текстов, когда, перепечатывая их самолично, человек лучше их постигает, как и в случае с Наташей Горбаневской, принес свои плоды.

В чем-то Саша для себя — разобрался. Что-то важное для себя — открыл в моих писаниях. Такое, замечу, которое, как и Леонарду Данильцеву, дало ему некий нужный импульс для собственного творчества. Слава богу, что так!

Саша сам говорил мне об этом. Откровенно. А что тут скрывать? Было это совсем давно.

Снег ли, дождь ли сегодня в мире — возвращусь я туда, где свет в сентябре золотист и молод, как и мы когда-то давно, не единожды. Вижу, вижу все, что было со мною в прошлом. Понимаю — и говорю.

Память высветлит ненароком потайной сквозь пространство ход, напитает подспудным током каждый день мой и каждый год.

Вспоминаю Диму Борисова — в шестьдесят четвертом, все той же прекрасной осенью наших дружб, общения нашего удивительного, когда ощущение славной пляды росло и крепло во мне, — вспоминаю его в родительской квартире, просторной, светлой и чистой, где была у него своя комната, и дом на улице Жолтовского, солидный, стоящий несколько обособленно от прочих, осторонь от Садового кольца, неподалеку от Патриарших прудов, дом, перед которым росли деревья, от которого было рукой подать до сада «Аквариум», до метро «Маяковская», до одноименной площади с памятником поэту, месте тогдашних поэтических чтений, с рестораном «Пекин» и театром «Современник», — вспоминаю Диму — в его комнате, сосредоточенного, серьезного, поглядывающего из-под очков на гостей, не столь уж частых здесь, что-нибудь говорящего — разумеется, интересно, переполненного информацией, знающего так много, что казался он кладезем эрудиции, просветителем, да и только, — память его в самом деле вмещала многое — и охотнейшим образом он им делился с нами тогда, и включались мы в разговор, интересный для всех и полезный, — а потом возникала идея куда-нибудь переместиться, чтобы там продолжить общение, и звонили, и договаривались, и, собравшись поспешно, все вместе, выходили мы в осень, в сентябрь, и куда-то шли, разговаривая, и совсем не хотелось нам расставаться, и день сменялся гулким вечером, ночь надвигалась, надо было успеть на метро до закрытия, чтоб добраться домой, мы прощались, разъезжались, — но утром снова мы встречались — в университете, на занятиях, на «психодроме», шли пить кофе в «Националь», благо стоила чашка кофе копеек семь, ну а в «Марсе» и вовсе дешево — пять копеек, — ну а потом возникала опять идея всем собраться где-нибудь вместе, почитать стихи, да и выпить, и куда-то ехали мы, и в компании нашей Дима был, конечно, лидером, — впрочем, все мы были тогда полны молодой энергией, — так вот, непрерывно, спиралеобразно, вместе с осенью, вместе с дружбой, время шло — но его так много было — в сердце, в душе, для творчества, для учебы, для дружбы, для жизни, что, казалось, надолго хватит, как и света в былом сентябре.

И, его вспоминая слова, я в затворничестве говорю:

— Слова твои, Дима, сказаны — когда-то, совсем давно. Когда-то — была и дружба. И свет ее — жив поднесь. Приходит он временами — оттуда, из шестидесятых, приходит из семидесятых, приходит из восьмидесятых и даже из девяностых приходит, упрям и смел. Что было — то было. С нами — бывало всякое. Помню о том, что вело,

спасало, о том, что хранило — речь. Ночь. Я один. В окошке — осень. Совсем не такая, как в юности нашей. И все же — осень надежд и щедрот. В доме тихо — и в мире тихо. В доме пусто — и в мире пусто. Потому что друзья — ушли. Нет их в мире — и нет их в доме. Не дожدهшься. Ушли. Исчезли. Так ли? Нет. Не исчезли вовсе. Живы — все. Ибо жив — и мир. Правда, если зовешь их — вряд ли дозовешься. Молчат. Но — смотрят: из своей глубины далекой, из легенды светлой своей, на меня. Ждут чего-то. Слова? Да, конечно. Слова — и только. Но — живого. О том, что было. О таком, что всегда — со мной. Да и с ними. А как иначе? Слово было — со всеми нами. Слово — есть. И оно сегодня — с нами вместе. Мы — с ним. И — в нем. Слово — слава. И слово — сила. Слово — право: о том, что было, говорить. Слово — кровью в жилы, чтобы ладить уметь с огнем.

Вижу Сашу Соколова — чуть сутулящегося, хоть и крепкого, все поглядывающего из-под челки цепким, частности схватывающим, подробности запоминающим взглядом, — там, в начальную пору СМОГа. Почему-то мы с ним — перед зеркалом. Говорим. Вернее, он — слушает. Говорю — лишь я. Но о чем? Ну-ка, зеркало, вновь напомни! Говорю я ему о том, как привык я сопротивляться всяким бедам, всему, что мешают, что обязан я победить, — и для пущей убедительности принимаю боксерскую стойку — и луплю кулаками нечто, пусть невидимое, но явственное: так вот! так ему! получай! не мешай дышать и работать! убирайся! сгинь! пропади! резче, четче, еще точнее, всюю массой — удар! удар! — что, не нравится? — то-то впредь будешь знать, на кого поперло! — ты получишь свое — всегда! — отвяжись, рассыпся, исчезни!.. Никакой не спектакль. Привычный и давнишний мой — бой со злом. Саша слушает, Саша смотрит — и молчит. Мотает на ус. Взгляд его — сквозь зеркальную гладь, сквозь его отражение в ней — ускользает куда-то, потом — проникает вглубь, исчезает — непонятно где. Саша входит, словно в дверь открытую, в зеркало. Здесь он, рядом, — и нет его. Там он, где-то, — и все же здесь. Где же он? Между тем, кто здесь, и ушедшим в зеркало. То есть в ирреальном он — и в реальности. В измерении соколовском. Личном. Тайном. Открытом вдруг. Он — на грани. А что — за гранью? Саша думает. Он напряжен. Там, в грядущих семидесятих, он пройдет сквозь иное зеркало — вглубь и вдаль — и уже останется — там, за гранью. При чем надолго. Приютит его зазеркалье. Навсегда ли? Поди гадай!

Век уходит — и я говорю:

— Прямо из Греции, Саша. Где все есть? Не бывал, не знаю. И дело не в этом, а в том, что прибыл ты — прямо из Греции. Для тебя — ничего удивительного. Просто — в стране этой жил ты. Временно. Жил — у моря. На вилле. Чьей-то, понятно. Не своей, а чужой. В тишине. В покое. В тепле. С женою. Зимой — камин топил. Дровами масляными. Щурил глаза свои из-под челки. Наверное, залетали средиземноморские чайки — левантийские, так скажем, — во двор твой. Наверное, ты, поглядывая в окошко, думал — то о погоде, то о том, что пора бы приехать тебе в Москву. С тобою мы — в кои-то веки — обменялись письмами. Ждал я твоего возвращения на родину. И ты — приехал. И вот мы встретились — через годы, слишком долгие, слишком разные — у каждого. Пообщались. И снова ты вдруг — исчез. В пространстве передвигаться — несложно. И спрятаться можно. И там затаиться. Наглухо. С гарантией: не найдут. Куда сложнее — во времени свободно передвигаться. В нем я давно уже — дома. В нем я дома — всегда. И где бы ты ни был, Саша, тебя я вижу повсюду. Глаза упряма. Повадки конспиратора. Или — школьника, убегающего с уроков. Стремление: быть, по возможности, в форме. Спортивной, конечно. Тренажеры. Горы. На лыжи! На воз-

дух! Да чтобы — почище. В тишину. В глухомань. К здоровью. Чтоб никто не мешал — дышать. А может, и для того еще, чтоб там, в покое, на воле, вдали от людей, от родины, где-нибудь там, в Канаде, где ты родился, не письма — мне, например, а прозу, новую, новые книги, пусть медленно, да, надеюсь, верно, вынашивать — и писать.

— Алейникову доступны выдающиеся озарения. И думаю — несомненно — эти озарения коснутся его в недалеком будущем самым явным образом, — говорит Игорь Ворошилов. — Я считаю Владимира Алейникова первым поэтом на сегодня. Когда он преодолеет язычество — это будет ослепительный свет. Естественно, в его стихах постоянное борение с тьмой, ибо он не может не знать, что «Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы». В этом смысле он — человек Гармонии.

И я, Гармонии хранитель, говорю:

— Дорогие годы прошли. Миновало столько, Игорь, что нет ему счета. Молодость — далеко. Но — вот она, здесь. Никуда не ушла — из памяти. И не думала уходить. Не могла меня — одного — просто так, потому что — в прошлом, как привыкли считать, она, — здесь, от всех вдалеке, оставить. Нет, она — в настоящем. И, знаю, — в том грядущем, где все мы встретимся. Настоящее с предстоящим — в давней дружбе. Они — заодно. Настоящее связано с прошлым — тем грядущим, в котором всем нам суждено пребывать — потом. Там — тот свет, о котором грезил ты. Нет — язычества. Есть — ведический, давний, вечный, спасительный свет. Все, что создано нами, — будет им в грядущем озарено. Потому что свет — это творчество. Потому что творчество — свет. Нет в нем тьмы, да и быть не может. Свет же — свят. Потому что свит из волокон живой материи. Соткан. Создан. Рожден — однажды — и, конечно же, — навсегда. Будет свет. Будет жизнь. Природа не допустит утрат живого. Мир останется — гармоничным. Наше время — пребудет в нем. Наше время — частица мира, в коем истинны кисть и лира. Бах. Межзвездная ткань клавира. Сохраним — и потом вернем.

Вспоминаю Игоря Ворошилова — работающим. Он в моей квартире. Временно обитает. Намайлся где-то. Пришел. Отдышался. И вот — потянуло к трудам. Он рисует. Сидит в углу — здоровенный, сгорбленный над случайным листком бумаги, который держит у себя на поджатых коленях, подложив под него картонку. Листок расцветает, живет. Он тянется за другим листком. Потом — еще, и еще. И так — покуда не изрисует целую пачку бумаги. Ну а потом — перерыв. Смотрим рисунки. Радость. Ворошилов устал, но доволен: слава богу, что есть возможность поработать! Знал: перемучится — и опять придет состояние равновесия и подъема. Я за друга рад несказанно. Вечер. Музыка я включаю. Осень плещется вместе с дождем прямо в окна. Возможно, кто-нибудь из бесчисленных моих знакомых к нам заглянет на огонек. Ну а может, никто не придет. Зажигаю свечу — и вижу отражение ее в оконном, запотевшем, темном стекле. Ворошилов встает. Я вижу в том же самом стекле оконном отражение лица его. Со свечою — лицо. Два знака. Два источника света. Вставший, в темной глубине оконной вижу рядом с ними — свое лицо.

Вижу Аркадия Пахомова — на заре его артистизма житейского. Полный стакан в руке. Вино. А может, и водка. Градусы нипочем русскому богатырю! Короткая стрижка. Лоб с едкой морщинкой. Глаза — этакие, с прищуром. Отсутствие бороды — пока что. Потом — появится. Как и у всех знакомых. Как же — без бороды? Но пока что ее нет. Щеки и подбородок — выбриты. Рубашоночка свежая. Пиджачок. Выглаженные брюки. Ботинки — как раз по ноге, вычищенные. Ухожен. Дома о нем — заботятся.

Нагуляется — и возвращается. Отоспится, сил наберется — и вновь на подвиги. Так и живет сочинитель стихов — про крольчат, про товарный, про Пугачева и даже про Ленина — думающего, глядящего на облака. Стоит со стаканом Аркадий. Потом — выпивает, залпом, содержимое. Крякает, ухает. Со вкусом. Вполне артистично. Закусывает — символически. Закуривает — с удовольствием. И вот он — уже в настроении. Даже, возможно, в ударе. Начинает рассказывать — байки, всяческие истории из жизни литературной. Здесь он — неподражаем. И даже неотразим. Слушатели — довольны. Нравится им все это. Надо уметь — рассказывать. Не всякому это дано. Пахомов — умеет. Он — в центре внимания. Он — главный в застолье. Он — самый важный. Здесь он — царит. В кругу знакомых — ему хорошо. Все у него — в приятелях. Все у него — в друзьях. А если не все, то — многие. Так вот, за годом год, рассказывает Аркадий байки свои. Постепенно начинает он повторяться, заговариваться. Он теперь — бородат, как и все. И немолод. Но все еще — артистичен. Привык. Иначе — нельзя. Есть у него, кроме баек устных, еще и басни — записанные на бумаге вроде бы. В девяностых, обычно выпивши, ночью, негаданно позвонив, чтоб, как и встарь, пообщаться, пусть и по телефону, читает он эти басни — с выражением, артистично, — мне, например. А то и хочет поговорить по душам. Но звонит — все реже. Да и я бываю нечасто в Москве, где вырос Пахомов, где его артистизм расцвел. Приключений бывало вдосталь у него. Стихов — маловато. Но зато — все их помнят. И в книге — есть они. Книга — есть у друзей, у приятелей, у знакомых, у любителей литературы. Есть Москва, и в Москве — Пахомов. Есть Пахомов — жив артистизм, пусть он выцвел слегка, износился, по дорогам поистрепался, поугас в бесконечных застольях, — он упрям — и Пахомов упрям. Потому и живет, как хочет, по законам — своим, незаемным. Потому и поэзию любит — в жизни, в дружбе, в писаньях своих, в байках, в драмах, в романах, в заработках, в телефонных беседах, в памяти — о хорошем, о самом лучшем, о былом, о таком дорогом. День за днем собираются в годы, ну а годы — в десятилетия. В них присутствует — он, Пахомов. С артистизмом своим. В Москве вряд ли сыщешь другого такого. Колоритнейшая фигура. Не хухры-мухры. Помнят многие выпивоху и балагура. Помнят, помнят столичные жители в как бы временном разобщении человека, в котором видели то плывущего по течению, то казавшегося невиданным удальцом — и в геройстве этом так доселе и не увиденным. Ну а был он — и есть — поэтом.

Вот и я, с обретенной свободой своей, говорю:

— Наверное, так, Аркадий. Похоже, что так. Пожалуй. Наверное, все — со мною. Свобода — прежде всего. Пушкинские, заветные, родные покой и воля. Свобода — быть человеком. Свобода — жить. Созидать. Наверное, так, Аркадий. Жить по законам искусства — непросто. Вспомни о быте. Различным бывает он. Хочешь — ныряй с головою в него, а хочешь — выныривай. Можешь — преобразай его. Иначе — заест. Сожрет. Вырывайся из быта. Иначе — кранты. Покуда не поздно — вырывайся. Чурайся инерции. Впрочем, разным бывает быт. А свобода — совсем другое. Свобода — она такая: совладать попробуй-ка с нею, или — общий найти язык. Свобода — это не только приволье. Это — работа. Непросто привыкнуть к этому. Свобода — певческий труд. Свобода — жреческий подвиг. Да. Ни больше ни меньше. Готовность к порыву, к взлету, к паренью. И все это — труд. Полет в пространстве — работа. Порыв сквозь время — работа. И память — работа. Свобода — жизнь внутренняя. В трудах. А внешне — да мало ли кем ты кажешься, певчий, кому-то! Духовным зреньем ты зорок. Внутренним светом ты жив. Зов мой давний, свобода! Кров мой вечный, свобода! Воз мой, который тащу я, мученья привычно скрыв. Да что вы знаете, други, о том, что такое — свобода? Други вы или недруги — кто скажет сейчас? У вас — есть, наверно, догад-

ки, прикидки, наметки, попытки — приблизиться к пониманию, быть может — не в первый раз.

Помню Мишу Соколова, Михалика, — так все мы его называем, — там, все в том же сентябре, когда вместе мы учиться начинали в университете — и мгновенно сдружились. Оказалось, что это — надолго. Миша был уже тогда — серьезным. Сосредоточенным — на том, что важным было для него. Так что же, весь — в себе? Нет, конечно. Был и компанейским парнем. Но способен был — мгновенно, в ситуации любовью, переключаться на свое, на то, что там, внутри. Непрерывная работа шла в нем. Был он создан для труда. И этот труд был, конечно, творческим. Но тоже — не таким, как у прочих. Будучи поэтом, он сумел поэзию внести и в искусствоведение. Книги, им написанные позже, говорят именно об этом. Сам он — сед. И куда серьезнее, чем прежде. Он известен. Мир он повидал. Ходит по музеям заграничным. Дочку ездит в Лондон навещать. А в Москве он — человек домашний. Вечно за компьютером сидит. Пишет. Размышляет. Он — в трудах. Целых тридцать восемь лет назад, в коридоре университетском, встретились впервые мы. Теперь изредка мы видимся, поскольку он — в своих трудах, а я — в своих. Но вниманье прежнее — осталось: в нем — ко мне, во мне — к нему. К трудам нашим. Ко всему, что в судьбах наших. Все — не так-то просто. Все — всерьез.

И вот я, здесь, у моря, говорю:

— Набродился я, видно, Миша. Наскитался — за десятерых. Ветер. Чайки кричат над морем. Осень. Листья желты в садах. Веет чем-то — чуть горьковатым, невесомым, едва уловимым — то ли вновь цветущей полынью, то ли молодостью моей. За холмами — горы. Над ними — облака. И сквозь них порою пробивается луч звенящий — словно руку мне тянет свет — через годы, сквозь век бредовый. Нитью можно прошить суровой рваный ворох невзгод и бед. Нить смоленая за иглоу проскользнет ли сквозь бремя злое дней, клубящихся там, за мглою, застилающей чей-то след? И на оклик — ответа нет. И тропа моя тихо вьется — и над нею сквозит, сдается, и в душе моей остается звук былого — мне легче с ним, потому что он в песню входит, в мир мой сызнова сам приходит, — а над миром звезда восходит сквозь вечерний слоистый дым.

И говорю я в отдалении своем:

— Символ времени. Символ веры. Знак судьбы. Пространства завет. Образ мира — и грозной эры. Грустный голос. И — ясный свет.

Кто услышит? И я говорю:

— Посреди междувременья — жив я. И спасаюсь — работой. Трудом. И слова твои — помню, Виталий Пацюков. Прекрасно их помню. Кто мне скажет — где ты сейчас? Не в Америке — так в Европе. Или — там, в толчее столичной, там, в Москве, что из русской стала непривычно чужой? Кто знает! Мудрено тебя разыскать. Где-то есть ты. Надеюсь — есть.

Говорю я — кому? Говорю. Почему? Потому что — надо:

— В одиночестве давнем своем жив я все-таки — видит Бог!..

И я говорю — о важном:

— Надо сказать, что дружба — это не отговорка, не пустая обмолвка, Юра Кублановский, попросту — Куб. Дружба — творческий труд. И, конечно же, дружба — дар.

Не всем он, увы, дается. Притворщиков — слишком уж много. Обманщиков — пруд пруди. Друг ли ты мне? Да вряд ли. Так неужели — недруг? Дожили. Что же — дальше? Да кто его знает! Век общенья — уходит? Странно. А как же — вниманье? И даже — изредка — пониманье? Пришло отчужденье? С ним так и сживутся? Хуже? Выходит, что породнятся? Вот оно, разрушенье основ! Но в мире — светло, пусть в нем и одиноко. Песни мои — в затворе. Море пустынно. Грустно. Горько — и тяжело.

И сызнова я говорю:

— Верю в чудо и верю в слово. Вспоминаю зарю свою. Слава мира и право крова — там, в холмистом, степном краю.

* * *

За тобою — прожитые дни, облака, встающие отвесно, все, чему в сознание стало тесно, — так раздвинь завесы и взгляни — не туда, где были мы с тобой молодыми, смелыми, хмельными, а туда, где ранами сплошными изморщивен плещущий прибор.

...Стоял июнь. Приехал Кублановский.

Прибыл — на пару с дамой.

— Здравствуй, Володенька!

— Здравствуй!

— Можно?

— Входи!

Приехал сюда — отдохнуть. Знать, от трудов праведных.

Ну, что же! Вольному воля. Принял. Привел их в дом.

СОН МОЙ — О КУБЛАНОВСКОМ

Заманил он меня за границу. Не куда-нибудь, а в Париж. Зачем? Поди догадайся! Почему — в Париж, а не в Мюнхен? Почему, например, не в Лондон? Там живет Володя Брагинский, ныне — житель британской столицы, уважаемый всеми профессор, знаменитый востоковед, в давнем прошлом — друг мой московский, но еще и хороший прозаик; мне приходится кумом он, потому что он крестный Оли, младшей дочки моей, — и он-то, вспомнив дружбу нашу былую, осадил бы, наверное, Куба, пожурил бы его небось: что ж, мол, ты, такой да сякой, вдруг срываешь с места Володю и зовешь незнамо куда, в совершенно ему ненужный, хоть, конечно, весьма колоритный и теперь-то вполне доступный, сотни, тысячи раз воспетый всеми в мире, кому не лень, пресловутый, да все-таки дивный, как известно, славный Париж? И Куб смутился бы сразу. И, может быть, передумал. Но Брагинского не было рядом. И некому было пресечь, в корне, понятно, в зачатке, преступные замыслы Куба. И Куб меня заманил довольно легко — в Париж.

Опоил меня чем-то Куб, уж сумел, исхитрился как-то, улучил момент, расстарался, заморочить сумел мне голову бесконечными байками, рассказами о красотах западной жизни, о свободе за рубежом, сладкой, легкой, всем по карману, и тем более — нам двоим, нам, товарищам старым, смогистам, при советской власти известным во пределах отчизны нашей, ну а также, что было, то было, за пределами нашей отчизны, нам, соратникам, нам, поэтам, да, поэтам, певцам свободы, уж такой, какою она представлялась нам в дни страданий и гонений, то есть особой и никак уж не зарубежной, а, скорее, сугубо личной, и, наверное, так и надо, да, конечно же, так и надо, то есть так было раньше надо, а теперь, как мне разъяснил рассудительный и сметливый, даже, может быть, и толковый, приживавшийся всюду Куб, мне пора бы вку-

свить свободы совершенно иной, парижской, се ля ви и шерше ля фам, пуркуа, ля мур и бонжур, мон ами, бель Пари, уи, то есть той, что мне не известна, по его же словам чудесна, эх, свободы глоток испить бы, погулять бы, во всю бы прыть бы побегать бы к цели конечной, чтоб с улыбочкою беспечной смаковать несравненный вкус жизни, той, что мне и не снилась, но с которой любой француз на короткой ноге, чтоб длилось наслаждение бытием и успело в сердце моем поселиться, укорениться, чтобы позже ночами сниться, как случается с Кубом это, — и какое там чудо света, ну, по счету, эта свобода? — что за счеты? — свободе — ода! — одурманил, такой-сякой, бывший житель парижский, сознание.

Но не алкоголь это был! Так что же? Да кто его знает! Учел, разумеется, Куб, что я много лет не пью. Уж что-нибудь да подмешал, какое-то зелье коварное — из рыбинских, знать, лесов, из мшистых болот — в мой чай. И зелье сие — подействовало. И я согласился вдруг с ним ринуться в путешествие, вдвоем. В Париж так в Париж!

И вот мы уже в самолете, как-то сразу в нем оказались, как-то слишком уж быстро, стремительно, так, что трудно такое понять, нет, не трудно, а невозможно, причем я зачем-то — с вещами (наскоро собирался), — сумка, но что в ней — не помню, что-то сунул туда наобум, ведь летим не куда-нибудь, а в Париж, к зарубежной свободе, где рядные люди гуляют посреди Люксембургского сада, где летят к Елисейским Полям песни Леша Хвостенко, а следом тень Максимова молча летит, чтобы в тихом небесном кафе или в баре каком, в зазеркалье, пообщаться с тенями Галича, Делоне, и даже Синявского, и, конечно, с тенью Некрасова, помянуть журнал «Континент» добрым словом, а с ним и «Синтаксис», а потом раствориться в листве, за которой сквозит, истаивая на ветру, диссидентское прошлое эмигрантов, поэтов, прозаиков и художников, словом — всех, — да, я в куртке, и в старых джинсах, и в футболке, но то ли в стоптанных, в меру рваных домашних тапочках, то ли даже, увы, босиком.

Летим. Потому что — везут. По воздуху перемешают. Несут. Как под белы ручки. В пространстве. Сквозь время. Вперед. Под музыку. Что, Вивальди? Без музыки. Только моторы гудят. Стюардессы разносят напитки, закуски. Летим. Во Францию мчимся. К свободе. Не нашей, а заграничной. И вот мы почти у цели. И вот уже — прилетели.

А деньги — мои, разумеется. Откуда у Куба деньги? Он служащий. Служит в журнале. Работник печати. Зарплата — сто долларов в месяц. Гроши! Ну, впрочем, возможности есть еще подработать. Он шустрый. А так, для других, он бедный. Особенно — для друзей. И просто-напросто нищий. Хватило бы на метро. Не кормит его секретарство в Союзе писателей. Трудно прожить бедняге поэту в суровое Смутное время, среди сплошных новых русских, на даче ли в Переделкине, в редакции ли новомировской, везде, куда ни помотришь, везде, куда ни шагнешь, сплошные трудности. Сложно на свете нынче прожить. Не то, что мне! У меня зарплаты и вовсе нету. И заработки ничтожны, случайны. Однако я нашел на поездку денег. Для нас двоих. Я сказал:

— Что ж, Юра, коли зовешь, поедем за мой счет!

Он говорил — квартира есть у него там, в Париже. Есть где остановиться. Город посмотрим. А там — поглядим, что делать, как быть. Поживем — увидим. Все будет, как везде говорят, о, кей. То есть — все хорошо. И так далее.

Прилетели. Я возбужден.

Мы спустились по трапу вниз.

Мы стоим на земле французской.

Мы в Париже. Ну и дела!

Но чего-то вроде бы все же не хватает. Чего же? Эх, так и есть. Спыхватился поздно. Вспомнил. Сумку забыл в самолете.

Говорю я об этом Кубу.

Он, с усмешкой, с небрежным жестом:

— Ничего, потом отдадут.

Ну, ему виднее, наверно. Знает, что говорит. Бывалый. В заграничных поднаторевший. Отдадут — значит отдадут.

Куб ведет меня за собой.

Он в очках, с подбритой бородкой.

Он идет небрежной походкой.

Парижанин. Герой. Плейбой.

Гость варяжский. Ума палата.

Мы — в Париже. Идем куда-то.

Куб — шагает.

И я — за ним.

(Чем-то смутным уже томим.)

Он — к машине, к своей машине, ждущей его на стоянке возле аэропорта, — странная, вроде «фольксвагена», а все-таки не «фольксваген», какая-то слишком гибридная, сборная, чужеродная в мире автомобильном, чуть ли не потусторонняя, черная, с перебором в цвете, черна как ночь, попросту жутковата, этакий скарабей, смешанный с пауком, с темными скользкими стеклами, с откидным суставчатым верхом.

Открывает бесшумную дверцу тускло блеснувшим ключом. Садится за руль. Устраивается на сиденье. Включает двигатель. Делает знак мне рукою, этак вальяжно, лениво, чуть ли не снисходительно, — что ж, мол, стоишь? — залезай. И я залезаю в машину. Сажусь на сиденье переднее, поудобнее, справа от Куба. Он сразу же с места срывает фольксвагенно-скарабеево-париже-паукообразную, как ночь европейская, черную, гибридную, жуткую, сборную, как сам он, машину свою. Шины шуршат по асфальту, чистому, без колдобин, вымытому стиральным — всю грязь долой — порошком, старательно вымытым, с толком. По улицам, просто стерильным в своей чистоте наглядной, мы едем. Едем — в Париже. Движемся. Едем — вперед.

Едем куда-то, едем. И все никак не приедем.

Куб — за рулем. В очках. С подстриженной жесткой бородкой. Правит он экипажем. Своим. Гибридом «фольксвагена» со скарабеем, ночью, мраком и пауком. Куб — он и здесь, в Париже, как сыр катается в масле, и жить ему в мире удобно, поскольку он просто — Куб. Куб — из-под глыб? Ему люб цивилизации лоск. Он мягок порой, как воск. Лепи из него, что хочешь? Нет, он не мягок, а гибок. Ловок даже. Он вроде рыбок, проникающих вмиг сквозь сеть на свободу. Ну как смотреть на него? Что гадать о нем? Он играть не любит с огнем. Никого не видит вокруг. Никому никакой не друг. И тем более — мне. Зачем с ним я здесь? И кому повем в граде этом печаль свою? Что мне делать в чужом краю?

Куб молчит. А мотор урчит. Едем, едем. Душа кричит об опасности — чувствует, ждет. Сердце громко тревогу бьет.

Куб на меня и не смотрит. Смотрит — куда-то вперед.

И вдруг, ни с того ни с сего, непонятно — зачем, как-то сразу, слишком резко, так, что раздался громкий скрежет из-под колес, — останавливает машину.

Вид у него — демонический, только дурного толка.

Голос — глухой, механический, и злая сквозит в нем иголка.

— Выйди-ка на минутку, — говорит сквозь зубы, — тут надо...

Что надо? А кто его знает!

Что-нибудь, наверное, надо.

Я из машины — вышел.

Он этак махнул рукой, блеснул сквозь очки глазами, нажал какую-то кнопку на пульте каком-то, — что-то, с кривой усмешкой, нажал, — откидной суставчатый верх раскрылся мгновенно: фр-р-р!.. — и нет никого, и нет ничего: нет ни его, ни машины!

Я остался в Париже — один. Состояние — просто ужасное.

Иду куда-то вперед. Улицы, всюду — огни. Слишком уж много огней. И всюду — чужие люди.

Одного из прохожих все-таки спрашиваю по-русски: «Как пройти туда-то?» — напрасно, — просто не понимает.

Куда, к кому мне идти? Тоска. Опять одиночество. Теперь — уже на чужбине.

Иду — большая, широкая, полная блеска улица, люди в модной одежде, сверкающие витрины. Замечаю совсем случайно: это надо же — я, оказывается, по столице французской шагаю просто-напросто босиком.

Асфальт под подошвами теплый, но все же... неловко, право, и не очень удобно, конечно, и не очень прилично как-то в таком вот виде идти в бурлящей людской толпе проезжему иностранцу, то есть мне, к тому же — поэту. И потом: ведь я же в Париже! Не где-нибудь. Именно здесь. Не хихоньки это. Не шутка. Отчаяние. Ну, дела! Кошмар. Куда мне деваться?

Вижу вдруг — магазин. Витрина, в ней — товар заманчивый: обувь. Открываю стеклянную дверь. Захожу. На полки гляжу. Вижу: шлепанцы есть, сандалии. То, что надо. Как раз для меня.

Говорю продавщице конфетной, с отчаянием, по-русски:

— Дайте это!

(А что за «это» — сам не знаю. «Это» — и все.)

Лихорадочно роюсь в кармане, весь на нервах: деньги-то где? Где искать их? Есть ли они? Есть? Остались? Или исчезли, — как и Куб, — неизвестно куда?

Переминаюсь босыми ногами. Неловко мне, так вот, в таком виде, в такой ситуации, обращаться к кому-нибудь, говорить о чем-нибудь с кем-нибудь. Вдруг подумают: ишь, босяк! Или: бомж. Или — как там, у них, говорят о таких? — клошар. Только этого мне не хватало! Как им скажешь, что я — поэт? Не поверят небось. Босой ведь. По-французски не говорю. Объяснить не могу им внятно, кто таков я, откуда здесь, что со мною произошло. Что за дело им, парижанам, до меня! Им не до меня.

Просто ужас. Тоска. Один! Совершенно один — в чужом, до того чужом, что не знаю, как и выразить это, городе, в совершенно чужой, ненужной для меня, пусть и вправду прекрасной для других, распрекрасной для прочих, но ко мне равнодушной стране.

А конфетная продавщица, подавая примерить шлепанцы (или, может быть, все же сандалии?), улыбается мне приветливо и отчасти загадочно, смотрит мне в глаза взглядом сытой птицы — и отчетливо так говорит:

— Мы по-русски здесь понимаем!..

...И я в ужасе просыпаюсь.

Сердце ломит. Ну вот. Валидол.

Слава богу, я здесь, у себя, в Коктебеле. Я дома. Дома! Постепенно я успокаиваюсь.

Ну и Куб! — ну и ложь! — заманил, — и куда? — заманил — и смылся...

Вспоминаю слова — не случайные! — Соколова Саши слова, со значением, видать, им сказанные десять лет назад, в бурном, щедром на поездки, встречи, возвращения, странном восемьдесят девятом, в ноябре, перед слишком уж необычным, торопливым, на скорую руку, вместе с группой телевизионщиков, моим отъездом в Париж:

— Куб в Париже все ходы и выходы знает!..

Сейчас — девяносто девятый год, июнь.

Я — в здоровом уме, у себя в Коктебеле, в своей спальне.

Куб — дрыхнет с дамой наверху, в мастерской.

Париж — неведомо где. Но только не здесь, в Киммерии. Здесь — нет его. Это уж точно.

Такая вот, — как приговаривать любят порой романисты, авторы книг приключенческих, а может, и романтических, и даже отчасти мистических, — поскольку без мистики, братцы, в мире шагу нельзя шагнуть, и тем особенно — в Коктебеле, и тем более — на излете века нынешнего, на грани, здесь, у моря, на самой кромке уходящего навсегда неизвестно куда и зачем небывалого тысячелетия, перед веком новым, пока что, для людей, ненадолго, незримым, но душой уже различимым и сознанием воспринимаемым, как оправданное и заслуженное продолжение пути земного, на котором выстоять надо и сказать свое слово в мире, перед новым тысячелетием, перед всем, чему следует быть, перед светом и перед Богом, — такая вот, говорю и я, автор этой книги, — такая вот, многозначная, таинственная, многосмысленная, мистическая, без сомнения, романтическая, с приключениями, провидческая, сновидческая история, — может быть, явь?..

СОН О ВАСИЛИИ АКСЕНОВЕ И ЖЕНЕ ПОПОВЕ

Я иду — иду в одиночестве — где-то в городе. Но в каком? Не в Москве ли? Возможно, в Москве. Не в Париже ведь! Не в Нью-Йорке. Да, в Москве. Конечно, в Москве.

Я иду — неизвестно куда. Вдоль бульваров. И вдоль ампирных, так нелепо, аляповато переделанных, отреставрированных — и утративших облик свой старомодный, милый, радушный, — оттого и едва узнаваемых, — но стоящих на том же месте, где и были, столичных домов.

Я иду — в измерении странном. В неизбежном — от всех — отдалении. В непонятном — для всех — состоянии. В характерном своем настроении. То есть — сам по себе. Как всегда.

Я иду — куда-то за грань. В даль свою. Или — в глубь свою. Или — ввысь. Да не все ли равно?

Я — иду.

Встречаю Аксенова.

Он — в длинном, теплом пальто. С вязаным шарфом на шее. В ботинках на толстой подошве. В лыжной шапочке. И с усами. И в съехавших на нос очках.

Я говорю ему что-то... Но что? (Проснувшись, забыл.) Что-то грустное. Да. Конечно.

Он спохватывается, зовет меня за собой. Идем. Заходим — в центре Москвы, в переулке, совсем незнакомом, — непонятно куда, зачем? — и что это — чья-то квартира? или офис? — никак не понять.

Какие-то вроде сотрудницы. Девицы — при деле. Нарядные. Смазливые. Современные. С мобильниками в руках.

Аксенов с ними здоровается — и что-то весьма вразумительное, и очень даже понятное для них — и, видно, привычное, простое, то есть рабочее, без неясностей, элементарное, без премудростей всяких, без сложностей с заковычками, — им говорит.

Они мгновенно идут, привычно, целенаправленно, туда, куда полагается, — и что-то включают запросто, и что-то легко, играючи, как в детской игре, нажимают — какие-то кнопки, клавиши...

И вот уже все готово.

Техника — будь здоров.

Девицы с улыбками вежливыми протягивают Аксенову бумагу какую-то плотную. На ней — неведомый текст.

Аксенов его просматривает. Кивает:

— О'кей, о'кей!

Благодарит девиц:

— Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Девушки вмиг расцветают. Как розы в саду весной. В конторе своей загадочной. В Москве. Непонятно — где. Но здесь, где место их службы, скорее всего, где то заведение, назначение которого знают они прекрасно — и не спешат кому-то давать пояснения, в данном случае — мне, потому что я-то чувствую: это — тайна, и они понимают это, дело вроде бы и не во мне, а в Аксенове — им, девушкам, им, служительницам чего-то, для чего названия нету, но о чем невнятный намек скажет больше порой, чем слово, благодарность классика — в радость. Пофартило им. Повезло. Будет что вспоминать потом, на досуге. Они довольны.

Аксенов — тоже доволен. Бумагу, быстро сработанную, на вытянутой руке протягивает он мне — берите, мол! — вот, в ладони лежит изделие свежее, готовое, это — для вас.

Что это за сочинение? Текст — обо мне? Я не помню.

Аксенов, довольный вполне, сбрасывает пальто — и шагает молодецкато — прямо в раскрытую дверь.

За дверью — он уже в шортах, слегка загорелый, спортивный, привычно раскрепощенный, не стареющий, полный сил, весь в себе — и уже в Коктебеле.

Он делает — кто бы подумал? — стойку. Кто мог бы представить? Стойку. Да, на руках. Раз — и встал! И стоит, как в молодости! Его с нескрываемым, бурным восхищением, так и этак, в разных ракурсах, отодвигаясь, приближаясь, все ближе, ближе, чтоб эффектнее получилось, выразительнее, вот так, чуть левее и чуть правее, чуть прямее, еще крупнее, снимает без передышки молоденькая, энергичная фотокорреспондентка.

Аксенов становится на ноги — и говорит мне из-за двери, из Коктебеля:

— Ваша собака гуляет по территории дома творчества!

Я отвечаю ему:

— Мой Ишка всегда дома, со мной!

А сам думаю: где же Ишка?

Верный Ишка тут же выходит из распахнутой двери, перешагивает порог — и оказывается, свободно шагнув прямо из Коктебеля, уже в Москве, рядом со мной. Я его глажу по голове.

Аксенов говорит:

— Ухожу в бухты!

Я говорю:

— Заходите ко мне. Я всегда дома.

Пожимая плечами, Аксенов устремляется, весь в движении, как в полете, куда-то вперед — и где-то там, впереди, отсюда не видно — где именно, хотя, при желании некотором, догадаться можно об этом довольно легко, — исчезает. И дверь — закрывается.

Ишка громко лает.

На лай моего верного друга — из домика, стоящего в углу, сложенного из разнообразных, толстых и тоненьких, больших и маленьких, в картонных и в бумажных обложках, книг — высовывается голова прозаика Жени Попова.

Из-за стены книжного домика — выглядывает мой коктебельский сосед, музыкант, классный трубач Миша Кудрявцев и говорит:

— Володя, тебя тут искал старый восточный человек, похожий на Шуфутинского!

Потом он громко играет на трубе побудку — и тоже исчезает. Временно, разумеется. Может — пошел за пивом.

Женя Попов, прозаик, на звук призывный трубы, на свет благодатный Божий, вылезает из книжного домика.

Он — спросонок. Смотрит на мир. Озирается по сторонам. Щурит глазки сибирские. Хмурится. Улыбается — чуть погода. Борода его — как-то скомкана. Подстрижена, что ли, слегка? Ключья торчит. Ну прямо бывший ежик в тумане.

В одной руке у него — маленький, незаменимый для пишущих прозу людей компьютер его, ноутбук, в другой руке — моя книга, подаренная когда-то ему, разумеется, с дарственной надписью, в твердой обложке, вышедшая на заре свободного книгопечатания, известная любителям поэзии давно уже — «Звезда островитян».

Он ставит компьютер на пол. Пожимает мне руку. Говорит:

— Я только что из Германии. Жил там с семьей. Писал роман. Купался в бассейне. Мы закуриваем.

Женя говорит:

— А где Вася?

— Какой Вася? — спрашиваю. — Твой сын?

— Аксенов. Василий Павлович, — поясняет Женя Попов. — А мой сын — Василий Евгеньевич. В честь Аксенова, значит, назвал.

— Ушел в бухты! — отвечаю.

— А, понятно! — говорит Женя. — А ты почему здесь, в Москве, а не у себя в Коктебеле?

— Не знаю! — говорю я ему. — Наверное, это сон.

— Понятно! — говорит Женя. — А я дачу себе строю.

— Из книг? — спрашиваю.

— Да, из книг! — отвечает Женя. — Скоро свет проводить будем. Пока что — при свечах работаю. И воду в дом провести надо. Много забот, много.

В руке он по-прежнему держит мою «Звезду островитян». Спрашиваю:

— Стихи мои читал?

— Себя читал! — отвечает Женя. И спрашивает: — Это сон?

— Сон. Конечно же, сон! — отвечаю я Жене.

Женя Попов становится в позу чтеца-декламатора. И говорит мне:

— Ты только послушай! Ведь как хорошо написано!

И читает мне с выражением:

— Жанр предисловия, врезки — вещь таинственная, вещь в себе, штука конъюнктурная. Не то по плечу хлопают, не то на поруки берут, не то лезут лобызаться. Мне непонятно, почему я пишу о Владимире Алейникове, а не он обо мне. Написано у него, может быть, и больше, чем у меня, редактором он служил, известен в Москве и далеко за пределами ее кольцевой дороги. И все же есть логика в том, что я, прозаик, предваряю публикацию поэта, с которым и ста грамм соли вместе не съел, не то что пуда. Поэта, чьи стихи постепенно, медленно, но входят в мою жизнь. Мы — сверстники, 1946 года рождения. Мы — провинциалы, я из Красноярска, он из Кривого Рога. Лишь с недавнего времени обрели мы возможность говорить не на кухне либо в пивной, а в свободном пространстве своей страны... Молодость. 1965 год. Послан исправляться на свежем воздухе «туняедец» Иосиф Бродский, сидят в тюремном замке «идеологические разбойники» Синявский и Даниэль, отправлен на пенсию «по состоянию здоровья» Никита Сергеевич. По Москве бродит СМОГ, но и его дни уже сочтены. Я учусь в геологоразведочном институте, знакомств среди литераторов почти не имею. СМОГ... СМОГ... Слухи ползут по студенческим общежитиям... Как я недавно узнал, аббревиатура содружества поэтов расшифровывалась так: Смелость, Мысль, Образ, Глубина. Жаль... Миф 1965-го утверждал, что это — Самое Молодое Общество Гени-

ев. Вечера. Скандалы. Дружинники с повязками. Богема-с это, товарищи! И — разгром. И — туман, марево многолетнее, из которого возникают имена поэтов: Леонид Губанов, Юрий Кублановский, Владимир Алейников. Леонид Губанов умер. Юрий Кублановский был принужден к отъезду. Владимир Алейников остался. Издал две куцые книжки. Живет в Москве. Счастливая, что ли, судьба? Нет... Счастливой, осмелюсь утверждать, не было пока что еще ни у одного писателя или поэта, начиная с библейских времен. Книгами он явно недоволен. С одной стороны — купюры, с другой — в письменном столе хранится в двадцать раз больше, чем напечатано. Только сейчас, на наших глазах происходит явление поэта читателям, и мне кажется, что он готов пойти на то, чтобы развеялись мифы о Самых Гениальных, чтобы все стало на свои места и каждому было отпущено по делам его. Потому что только гласность в своем натуральном виде, а не в качестве броского лозунга либо прямого вранья способна спасти пишущего, избавить его от отчаяния, водки и петли, с другой стороны — крепко щелкнуть по носу. Погрузневший, посолдневший Алейников по-прежнему циркулирует по московским литературным проселкам, сверкая рыжей бородой. Так удалась жизнь или нет? Не пьет. Растит детей. Литератор. Переводит чувашских поэтов Г. Юмарта и П. Хузангая. И все говорят, что хорошо переводит. И все говорят — Алейников? Да, был такой, он в СМОГе участвовал... Не был, а есть. И есть его стихи. И есть надежда, что эта публикация станет началом настоящего знакомства с поэтом, чье имя наконец-то обретает реальность. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Тут Женя сделал эффектную паузу — и вымолвил выразительно, громко, отчетливо, ну прямо как подписался:

— Евгений Попов. Москва. 11.12.1988 г.

И закрыл мою «Звезду островитян».

— Спасибо, Женя! — сказал я.

— Хорошо написал! — сказал Женя Попов. — Столько лет уж прошло, а звучит!

Ишка гавкнул басом, по-шалапински. Он это умеет.

— Тоже звучит! — сострил Женя Попов.

Я спросил его:

— Женя, а почему вы с Виктором Ерофеевым тогда, в семидесятых, не взяли в ваш «Метрополь» ни меня, ни Губанова, ни Величанского, ни Шатрова?

— Да как-то не сообразили тогда! — быстро ответил Женя.

За его спиной появились зеленые музыканты. Совершенно зеленые. Четверо. Они заиграли — на банджо, на гитаре, на губной гармошке и на скрипке. В стиле кантри.

Женя Попов сунул мою «Звезду островитян» за пазуху.

— Стихи постепенно, медленно, но входят в мою жизнь! — процитировал он сам себя.

— Хорошо, что так! — сказал я.

Женя расправил плечи, поднял к свету бородатую, с лысиной, крутолобую, крупную голову.

— Мне пора! — сказал он торжественно.

— Куда? — удивился я.

— Как — куда? В Коктебель!

Зеленые музыканты, наигрывая мелодию в стиле кантри, гуськом подошли к закрытой двери.

Дверь — сама — распахнулась.

За нею был — Коктебель. Море, холмы, горы и бухты. Видно все было как на ладони.

В Лягушачьей бухте сидел у воды Василий Аксенов. Он увидел издали Женю Попова — и позвал его, сделав жест рукой в свою сторону, к себе: иди, мол, сюда, поскорее! Что ты застрял в Москве?

Зеленые музыканты шагнули, один за другим, гуськом, за порог, в дверь, и стали: один — стебельком зеленым, другой — листком, третий — травинкой, четвертый — целым зеленым холмом.

На полпути к Лягушачьей бухте стоял мой сосед, музыкант Миша Кудрявцев, — и играл, щурясь под солнышком, на своей ослепительно сверкающей трубе всем известную вещь — «Когда святые маршируют».

Женя Попов поднял с пола компьютер, пожал на прощание мне руку:

— Пора, Володя, пора!

Примерился, разогнался — и, перепрыгнув через московский порог, пролетел в разогретом пространстве, описав в воздухе плавную, гибкую, выразительную дугу, куда-то вперед — и оказался прямо в Лягушачьей бухте, рядом с Аксеновым.

Никаких лягушек там, разумеется, не было.

Но зато вместо зеленых музыкантов, ставших частью природы, встретили его там, на камнях бухты, четыре зеленых ящерицы.

Исчезла Москва.

Мы стояли с Ишкой на облаке.

— Это облако. Облако поэзии, — раздался откуда-то усиленный невидимым громкоговорителем голос Андрея Битова.

— Стихи и поэзия — это, конечно же, разные вещи, часто взаимоисключающие друг друга, противоположные понятия. У одних слова, строки, строфы — тяжелые муки творчества, у других все это — легкий, ликующий пир жизни. Владимир Алейников — это не стихи — стихия, поток чистого, звенящего звука, простор мысли, свежесть и яркость всегда обновленного, животрепещущего слова, — раздался не менее громкий, подвыпивший голос Валеры Баскова.

Облако плыло в небе.

Мы с Ишкой стояли на облаке.

— Поэзия Владимира Алейникова еще ждет своего читателя. И — своего исследователя, — раздался голос Юры Крохина.

— Я знаю, кто вы! — гремел в стороне голос Владимира Микушевича. — Вы поэт с мировым именем!

Мы плыли с Ишкой на облаке.

— В стихах Владимира Алейникова действительно скифский дух, — доносился до нас голос Микушевича. — Я бы назвал стих Алейникова соитием стихий: стихии друг друга алчут, друг во друга проникают, но не растворяются одна в другой. Каждая из них верна себе и потому взыскует остальных!

Облако плыло над Скифией.

— Ты патриот пространства! — доносился издали голос Жени Рейна. — Ты поэт редкой группы крови!

При слове «кровь» Ишка насторожился.

А пространства было — хоть отбавляй.

Мы, на своем облаке, двигались в сторону Киммерии.

— Володя, давай пребудем тверды подобно герою данного романа. Осень — а мы все те же, — раздался голос Саши Соколова.

И прямо в руки мои — из ничего, из ниоткуда, явившись сама по себе, — легла его книга «Палисандрия».

Тут наше облако стало просто сплошным туманом.

И начался вдруг — сон во сне.

СОН О САШЕ СОКОЛОВЕ

Я увидел себя — в Америке. Оказался я там — зачем? Не знаю. Был я совершенно один. Шел, шел, по какой-то дороге, было много поворотов, холмов, густо заросших лесом. Стемнело. Начался дождь. Я брел куда-то совсем далеко — и заблудился. Дождь усиливался. Я вымок до нитки. Наконец вышел я на какую-то большую поляну. За этой поляной виднелось большое, особняком стоящее здание. В окнах горел свет. Из темноты я двинулся вперед, прямо на свет окон. Вдруг — резкие голоса, лай овчарок, лучи карманных фонариков, направленные на меня, прямо мне в глаза. Громкий приказ: «Остановитесь!» Я остановился. Ко мне подошли какие-то неизвестные люди, с военной выправкой, в мокрых плащах, с овчарками на поводках. Овчарки злобно рычали — и так и норовили меня укусить. Я замер на месте. Посыпались вопросы: «Кто такой?», «Почему вы здесь оказались?» И — приказным тоном: «Документы!» Я достал свой заграничный паспорт. Один из подошедших быстро пролистал его и положил к себе в карман: «Этого недостаточно!» Я сказал: «Других документов у меня нет». Высокий, плечистый человек в капюшоне спросил: «А это что?» — и показал на оттопыренную полу моей куртки. «Ах, это! — сказал я, — это моя книга. Это стихи. Я поэт». Я достал свою книгу — и протянул ее человеку в капюшоне. Говорили мы все почему-то по-русски. Дождь уже перешел в ливень. В здании за поляной прибавилось света в окнах. «Он шпион!» — сказал один из подошедших. «Еще чего! — сказал я. — Глупости. Я поэт». Человек в капюшоне перелистывал мою книгу. Я уже совершенно отчетливо понимал, что забрел я ну совершенно не туда, что здесь не полагается находиться посторонним, что вся эта нелепая история чревата самыми серьезными для меня последствиями, да и вообще — мало ли чего эти гаврики отчебучат? Ищи-свищи тогда меня. Эх, вот незадача! Я уже начинал беспокоиться. Вижу, однако, не подавал. Спокойно стоял на месте. Человек в капюшоне листал мою книгу. На одной из страниц, освещенной лучом фонарика, я увидел посвящение над стихотворением: Саше Соколову. И вдруг меня осенило. Нет, это было — озарение. «Саша Соколов!» — сказал я, обращаясь ко всем сразу. Все головы повернулись ко мне. «Саша Соколов! — сказал я. — Он старинный мой друг! Саша Соколов! Поняли? Саша Соколов!» Подошедшие переглянулись. Один из них пошел к какой-то будке — и вскоре вышел оттуда. «Ждите!» — было сказано мне. Я стоял и ждал. Минут через десять рядом со мной затормозила большая черная машина с затемненными стеклами. Из нее вышел человек в длинном, до пят, непромокаемом плаще, в низко, на самые брови, надвинутой шляпе, в кожаных перчатках. Плащ, шляпа, перчатки и ботинки у человека были черными. Все это сразу же заблестело под хлещущими сверху ливневыми струями, в лучах фонариков. Человек, вышедший из машины, быстро подошел ко мне. И я увидел, что это — Саша Соколов. «Саша!» — воскликнул я. «Володя, сколько лет, сколько зим!» — откликнулся Саша. Потом спросил: «Ты как здесь оказался?» Я ответил ему: «Шел куда-то. Гулял. Или, может, бродил. Заблудился». Саша быстро сказал: «Так. Понятно. Подожди.» Повернулся к людям с фонариками. Подошел к ним. Что-то им тихо сказал. Те встали перед ним навтыжку, отдали ему честь. Тут же возвратили ему мой паспорт и книгу. Саша по-военному прикоснулся ладонью к обвисшей поле шляпы. «Вы свободны!» — сказал он всем. Те развернулись и удалились по направлению к дому, видневшемуся за поляной. Саша подошел ко мне. «Поехали!» — сказал он. «Куда?» — спросил я. «Куда надо. Подальше отсюда». Мы залезли в машину, устроились вдвоем на заднем сидении. Саша тронул рукой за плечо сидевшего впереди шофера: «Двигай!» Машина тронулась с места. Вскоре поляна и дом за ней исчезли из поля зрения. Вокруг был только ливень — и лес за ним, и хол-

мы, и дорога, дорога, дорога. Саша отдал мне мой паспорт и книгу. Я положил их на место. Мотор урчал. В машине было тепло. Она летела куда-то вперед. А куда? Кто его знает! Наверное, так и надо. Едем — и слава богу. Вместе — и хорошо. «Ты знаешь, где ты был?» — спросил меня Саша. «Не знаю, конечно! — ответил я ему. — Понятия не имею. Шел куда-то вперед. Был дождь. А потом он сменился ливнем. Я промок. И вышел туда, на поляну. За ней увидел дом с горящими окнами. Думал, обогреюсь и отдышусь, пережду этот ливень, а там дальше двину — авось куда-нибудь, что похоже на цивилизацию, я и выберусь. Сам. Только — позже». Саша с усмешкой взглянул на меня. И сказал: «Это было здание разведшколы. Тебя запросто могли задержать. Ты мог даже исчезнуть. Навсегда. На всякий случай. Все у них могло быть, поверь. Посторонних у них не терпят. Это — тайная разведшкола. Сверхсекретная. Понял теперь?» Я ответил: «Конечно, понял». Саша тут же спросил: «Как же ты догадался вызвать меня? Только это тебя и спасло!» Я ответил: «Да очень просто. По стихам. Озарение было. Вдруг увидел в книге своей посвящение — помнишь, тебе посвящал я когда-то стихи? И сказал я им просто: Саша Соколов. И все призадумались. И тогда появился ты. Остальное ты сам уже знаешь». Саша сказал: «Забудь о том, что видел». Я ответил: «Уже забыл». Саша сказал: «Я сейчас вывезу тебя подальше отсюда. Там никто тебя не найдет. Впрочем, я распорядился. Искать не будут. Так что все у нас в полном порядке.» Он достал из внутреннего кармана плаща плоскую фляжку. Отвинтил крышечку: «Хочешь?» Я ответил: «Да я ведь не пью. Неужели забыл?» Подумав, Саша кратко сказал: «Да-да». Отхлебнул из фляжки. Потом завинтил симпатичную крышечку. Сунул флягу на место. Мы ехали в темноте, под ливнем, вперед. «Ну а теперь, — сказал мне Саша, — ты попадешь в спокойное место. Меня не ищи. Сам найдусь, если надо будет. О том, где ты был, ты уже забыл. И меня в этом месте не видел никогда. Это сон, понимаешь? Подари мне книгу свою!» Я достал свою книгу и отдал ее Саше: «Вот. Конечно, бери!» Саша взял мою книгу в левую руку. А правой рукой — сделал этакий плавный, кругообразный жест, — как фокусник, или, скорее, — как гипнотизер. И попали мы в свет ослепительный. А потом началось сияние. И ничего больше не было — ни машины, ни ливня, ни Саши. Я летел куда-то — в сиянии.

А потом я увидел — облако. На облаке — ждал меня Ишка. Мы летели уже на облаке, в направлении Коктебеля.

И вновь начался — еще один сон во сне.

СОН ОБ АНДРЕЕ ВОЗНЕСЕНСКОМ

Я в саду у себя — где-то в Кривом Роге или в Коктебеле. Работаю. Пишу. Рисую. Леплю из глины что-то — ну прямо гончар.

Появляется Вознесенский. Одет — хоть куда, со вкусом. На нем — роскошный, карденовский, белоснежный, летний костюм. Ворот рубашки распахнут. На шее — пестренький шарфик. Обут — в совершенно белые адидасовские кроссовки. Голова его, как и раньше, перископом вперед и вверх выдается, чуть зависая над приподнятыми плечами. Губы тронуты странной улыбкой, отрешенной, привычной. Глаза потускнели, но все замечают. Все лицо — как наплыв на свече парафиновый. Возраст, наверно, говорит за себя. Так и есть.

Я ему говорю, поздоровавшись:

— Вы-то помните меня? Столько лет я стеснялся вас беспокоить. И вот — увиделись.

И так далее. Что-то еще говорю. А зачем — не знаю.

Вознесенский:

— Да-да, конечно! Я, конечно, помню, Володя, вас! Ну как же мне вас не помнить? С той поры, когда вы ко мне вдруг пришли, вдохновенный, юный. С осени шестьде-

сят третьего. Я тогда еще говорил вам: приходите ко мне всегда, в дни любые, в любое время, буду рад я вам, потому что вы очень, очень талантливы!..

Говорим. О том да о сем. Совершенно разные люди.

Он меня все время нахваливает, и в особенности за то, что я очень много работаю.

Был в годах он. И вдруг — изменился. С виду стал такой молодой, знаменитый, тридцатилетний, — впрямь как осенью, той, давнишней, тридцать шесть годочков назад.

Вот он, скинув белый пиджак, засучив рукава рубашки, разрешенья спросив у меня, за гончарный садится круг, увлеченно делает что-то, вроде смеси миски с кувшином.

Обещает что-то. Помочь?

Я рассказывал вкратце ему — о себе, о своей судьбе. Он сидел за гончарным кругом — и рассеянно слушал меня.

А потом — раз! — и нет его!

Исчезает мгновенно! Куда?

Я ишу его — нет нигде. И в саду его нет. И на улицах. Испарился. Растаял. Пропал.

Вроде был он вот здесь — и все-таки вроде не было вовсе его. Странно? Странно. И — показательно. Был — и нет его. Как всегда.

И остался я здесь, в саду, — криворожском ли, коктебельском ли, — вам не все ли равно? — в своем, а не чьем-нибудь там саду, — как привык я, наедине со своими трудами вечными, с одиночеством давним своим.

...Но тут сон во сне закончился, и сад сменился облаком.

И на этом облаке — мы с Ишкой приближались к Коктебелю.

Вот широкий залив. Горы. Холмы. Дома.

И уже мы снижаемся. Уже виден наш дом.

Но за мысом успел я увидеть Лягушачью бухту, и в ней — Аксенова, читающего мою «Звезду островитян», лежащего на гальке, у самой воды, уже загорелого, и Женю Попова, еще только слегка покрасневшего на солнце, сидящего поодаль, на горячем, большом камне, на большущем куске золотистой парчовой яшмы, с полынным венком на голове, наигрывающего на вырезанной им самим дудочке незатейливую, но трогательную мелодию, — и четырех зеленых ящериц, сидящих на соседнем камне — и слушающих эту мелодию.

А потом наше облако, словно в сказке — ковер-самолет, приземлилось у нас во дворе, и мы с Ишкой на землю сошли. А потом поднялись на крыльцо — и в раскрытую настежь дверь, вдвоем, не спеша, вошли. Вот он, дом! Хорошо в нем, прохладно в жару. Как просторно здесь, тихо, спокойно! Благодарь! А потом я проснулся...

Вот какие бывают сны. Сны — в ночи, посреди тишины. Только мне они стали ясны. И невольно я им улыбнулся...

— Вот осень, а может быть, и зима, но зимою — опять-таки осень, и весной осень, и летом, и осенью — это уж ясно, потому что с осенью — проще, потому что с осенью — легче, да еще и куда привычнее вспоминать о былых временах, — времена ли это любви, времена ли года, а то и времена скитаний давнишних, времена бессонниц моих, — сквозь бездомицы, через ночи, в те глубины, где путь короче, где слова до щедрот охочи, потому что — куда без них? — вот зима, ну а может быть, осень, да, пожалуй, конечно же, осень, — одиночество, тусклая лампа над столом, а то и свеча, — листья в окна глядят и звезды, ветви мокрые тяжелеют, голова тяжелеет, плечи устают, но все же не сплю, — ну а может быть, сплю? — да вряд ли! — занавески дрожат, и форточка приоткрыта, и ветер входит гостем поздним в бессонный дом, — ночь осенняя, затяжная, — и еще ничего не знаю — что за нею? — тропа земная, как всегда? — ах, потом,

потом! — ну а что же сейчас? — да мысли, что, как листья в окне, нависли над седой моей головою, над столом, над этим листом, на котором пишу я прозу, над которой глотают слезы все метели мои и грозы в мире, вроде бы обжитом, — но куда там! — совсем пустынным, том, в котором речам старинным и ночам предыдущим длинным оживать суждено теперь, оживать и вставать за мною то ли стаей, то ли стеною, то ли звучно тишиною, — и ненастье скребется в дверь. Странное дело! Занавесь опускается, поднимается. Над чем? Над прошлым? Над будущим? Да поди разберись. Попробуй. Кто-то вроде бы смотрит в окно мое. Или сам я смотрю в окно? Позабывшее — вспоминается. Небывалое — тут как тут. У него настроение — будничное. Труд извечный. Работа привычная. Что-то все же есть в этом праздничное. Так ли? Так. Действительно, так. И часы: тик-так да тик-так. Мой будильник. Совсем старик. Стук неспешный да нервный тик. Так бывает. Но вне времен — ходу времени верен он. Ходу памяти. Можно — так. Ток подспудный. Уж он мастак вызывать не образ, так звук. Отсвет прошлого. Тук да тук. Отзвук радости. Дней исток. Запад, север, юг и восток — четырьмя лучами креста. Видно, все-таки неспроста. Да, конечно, не просто так. Имя времени. Вещий знак. Ночь. Звезда. Под звездой — дом. В доме — я, со своим трудом. То есть с книгою этой. В ней — все сильнее и все полней разгорается вешний свет лет, которых со мною нет, как считает разлад чумной, но которые — здесь, со мной. Всем им сердце мое сродни. Сердцу дороги — все они. Снова ночь — и осенний лад слов моих в тишине. Я рад. Снова осень — и взлет ночной мыслей всех, что дружны со мной.

— Я — это кто-то другой... — различаю я голос Артюра Рембо. — Если медь пробуждается горном однажды, не она виновна в свершившемся. Для меня абсолютно ясно — вижу мысли своей проклевывание, всматриваюсь в нее, вслушиваюсь, касаюсь ее смычком, и симфония, вздрогнув, трепещет или же махом одним вдруг на подмостки взлетает...

С тобою цветы, моя осень, цветы, над которыми — листья, и листья, выше которых — звезды, а там, за звездами — созвездия и галактики, мерцанье, сиянье, свечение, струенье, самосожженье и сызнова, неизменно, счастливое воскрешенье, — кругами, волнами, спиралями — рождающиеся миры, сближающиеся дары. С тобою мосты, моя осень, мосты, по которым в прошлое и в будущее иду я над плещущей водой, над мертвою и живою, над тихою и сквозною, над дикою и ручною, озерною и речной, над прорвой иду морскою, над бездною океанской, по всем десяти, знакомым с детства, мостам, по всем, с которыми связан чем-то доселе невыразимым, которым обязан чем-то таким, чему имя — речь. С тобою мечты, моя осень, мечты, у которых — ночи, с тобою ночи, с которыми — шаги мои в доме пустом, с тобою дом, за которым — холмы, а там, за холмами — горы, а над горами — небо, и море под ним, а там, за морем — пространство со временем, темень, рань, звезды моей постоянство над именем, снова — грань.

Может быть, тоже — сон? Вроде бы — обо мне. Голос я слышу знакомый. Саша Соколов говорит:

— И только тогда начинается: все остальное. Тогда. И только. И пусть — в силу чего бы то ни было — лишь бы — пусть явится эта притча разуму нашему в снах его, да скажется в судьбах круга, числа, да отразится в зеркалах наших Психей. Да, да, разумеется, о чем разговор, неужели же где-нибудь там, где положено, где надлежит, не сказано: отразится. Ответ однозначен: сказано. Оттого-то и отражается — отразилось,

сим: в силу слова. Вот. Правда, несколько незнакомо, ломано, ровно в рябом канале — каналья, зачем ты улыбки нам столь исковеркал, ведь счастье было так коверкотово. Тем не менее видно, как кто-то из этого круга, числа, кто-то в чем-то дорожном, неброском, как бы навыворот, — торопится на трамвай. Лелея келейность. Алеющей ранью. Лепечущей роши аллеей. Все лель есть, влекущийся к великолепью, просто-го олейника отпрыск. Воистину. Впрочем, неправда: торопится, но не аллеей, не рошей: торопится пустырями окраин, тропую в разрыв-траве. Ничего не сея, не взращивая, рвет походя блеклые лютики, ноготки. Рвет когти из ненаглядного Криворожья, цитатой из почты окрестных ведьм говоря. Гражданин почтмейстер, вместо того чтобы попусту рифмоваться с клейстером, заклеямили бы лучше те непотребные речи крутым сургучом. Не смейтесь, папаша, он мертвецов оставляет теперь не напрасно, верней, не из прихоти, не потехи для. В данной юности с ним творится особенное. Так, в день осознания лжи у него создалось отчетливое впечатление, будто бульвар спотыкался, дождь шел на изящных пружинах, а фонари по углам разложили фанерные тени. И Дантова тень, в зеркалах отразась — как эхо — давно многократна. Шутка ли. Да и вообще, человек сей — художник, в значении — поэт, а поэтому — почему бы ему не отправиться в путь, в другие места, и там не открыться во всех своих впечатлениях, не объясниться в пристрастиях. Странствовать — в частности на трамваях — тем паче на ранних — это же столь пристало таким вот на вид неброским, небритым, но, в сущности, страшно неистовым, прямо взрывчатым существам. Между прочим, неважно ведь, что такие взрываются сдержанно, методом дальних солнц, как ни в чем не бывало. Так в рассуждении пороха даже лучше, ибо хватает надолго. Сравнительно навсегда. Да, кстати, смотрите: деревья ладонями машут: прощание, исчезновение за. Но что характерно; что из игры — здесь игры Парменидова воображения, расстроенного как бабушкин клавишник, — им не выйти. Ни им, ни минувшим срокам. Ни им, ни — по буквам: Тифонос — Елена — Лена — Елена же — Гея — Рея — Афина — Федре — понятно вопрос — ни телеграфным проволокам плачущим. Ни им, ни дому, который поэт построил двумя штрихами. Где свет погас. Где форточку открыли. Построил и вскоре оставил: быть. И на лбу возникающего экипажа чтит долготочающее число.

(С песьей мордой один, а другой — с узкой мордой овечьей, корень речи — в земле дорогой и в крови человеческой, — что за молодость в бездну вела! — гонорком карнавала вместе с россыпью капель с весла что-то вдруг обдавало, — растворилось ли все, что ушло, в хищной гуще житейской? — заструилось за словом число, словно холод летейский, — отдалилось лицо за стеклом, невозможным, астральным, — да пичуга всплеснула крылом на кордоне опальном.

С головою собачьей один, а другой — с головою овечьей, — двое ряженных, нищих, гонимых пургой — что на вещих навлечь ей? — нет, не станет! — разбить не сумеет окно в мир, где встретимся все мы, — словно маски, в угаре когда-то давно разобрали тотемы, — потому-то и выпало выжить поврозь для Собаки с Овцой — у телеги пространства не смазана ось, чтобы ехали двое, — потому и живет искони меж людьми разобшённость загадка — не срастется с алеющей веткой, пойми, соколиная хватка.

С головою собачьей один, а другой — с головою овечьей, каждый — воли своей пападин, по-бирючьи не противоречь ей, — каждый доли достоин своей — что за прок, согласись, от известий, если время по-прежнему с ней, да и млечная тяжесть созвездий? — об утраченном, друг, не жалея — что за свет низойдет с небосклона? — и успеет еще Водолей повидать и обнять Скорпиона — как-нибудь — ну конечно — потом — там, где боли бывало так много, что она, обвивая жгутом, продлевала присутствие Бога.)

И тогда говорит Артур Рембо:

— ...так уж складывалось — человек над собой совсем не работал, не успел пробудиться или погрузиться во всю необъятность великого сновидения. Писатели были просто чинушами в литературе: автор, творец, поэт — подобного человека сроду и не бывало!

Попросту — сон. И не просто — сон. Сновиденье. Великое. Может быть, и наивное. Да вам-то — какое дело? Для вас ли пришло оно? Совсем не для вас. И баста. Пора бы понять. Смириться. Исчезнуть. И не мешать. Сон — для того, кто спит. Сон — для того, кто грезит. Сон — для того, кто бодрствует. И даже во сне. Всегда. Сон — для давно не спящего. Для никогда не спящего. Сон — пробужденье. Вхожденье в сонмы снов. На века. Сон: попадание в тон. Там: выпадание в сон. Происхождение тем. Скажет ли кто: не вем? Вам ли — начальный звук? Знак. Магический круг. Дом ли тебе — для снов? Сам ли ты в нем — для слов? Сон. Сновиденье. Сень. Сфера. Фонарь — сквозь день. Мера. Свеча — сквозь ночь. Эра. Пора. Точь-в-точь как и вне сна. Во сне — тоже ясна вполне. Чары. Пиры. Дары. Горы. Дворы. Миры. Море: восторг и стон. Что? — до-ре-ми — сквозь сон? Медлить нельзя, пойми. Тянется — так возьми. Фа- соль- ля- си — сквозь мрак. Ластитесь. Только так. Значит, бери. Пришло. До — и за ним светло. Гаммы. Звучанье сна. Там, где всегда — весна. В детстве. А может — здесь. Высь. Встрепенешься весь. Рвешься туда. Лети! Сон. В унисон почти — до. И чуть позже — ля. Доля. Твоя земля. Воля. Планида. Путь. Вера. Химера. Суть. В сердце горенья. Сеть. Жуть. Наважденье. Плеть. Плоть. Побужденье. Слух. Плыть. Пробужденье. Дух. Петь. Восставать. Не спать. Музыка — быть. Звучать. Слово, и в нем — число. Зеркало — и крыло.

Путь ли к сути иль песнь в юдоли — на века. Говорит Рембо:

— Первое, что обязан постичь жаждущий стать поэтом — это наиполнейшее познание себя самого; он душу находит свою, изучает ее, искушает ее, постигает ее. А когда он постиг ее, он обязан над ней потрудиться! Задача вроде бы простенькая... Нет, следует изуродовать душу свою. Действовать, словно компрачико-сы. Вообразите чокнутого, на собственной физиономии высевающего и старательно выращивающего бородавки. Я говорю, следует стать *ясновидцем*, сделаться *ясновидцем*. Поэт превращается в ясновидца долговременным, беспредельным и продуманным приведением в разлад всех чувств. Он сознательно идет на всякие формы любви, мучений, безумства. Он сам себя ищет. Он травит себя всевозможными ядами, но и вбирает самую суть их. Невыразимая мука, при коей так нужна ему вся его вера, вся его сверхчеловеческая сила; становится он больнее любых больных, преступнее всех преступных, наиболее проклятым — но и мудрейшим из мудрецов! Ибо сумел он достичь *неведомого*. Потому что взрастил он больше, чем всякие прочие, душу свою, и без того богатую! Он достигает неведомого, и пусть, безумный, утратит он пониманье видений своих, — все равно он их видел! И пусть во взлете своем подохнет он от вещей несслыханных и неслезанных. Придут уже новые труженики чудовищные; они начнут с тех далей, где предыдущий рухнул в изнеможении...

Как быть с тобою, щедрая душа? Да так и быть! Видений в мире много. Возможно, сам он — дивное виденье. А может, сновиденье. Кто уверен, что это — явь? И все же это — явь. Такая вот. Где вдосталь измерений. Где столько состояний и событий, что все они — спиралями, кругами, пунктирами и дугами сквозь время — встают и ждут ночами за окном. Вниманья ждут. А может, пониманья? Конечно же! Придет ли пониманье? И что же там — за кромкою, за гранью? Какие откровенья и желанья? Какая

глубь — за влажной тишиной? Какие тайны там, какие тропы? Какие встречи там и расставанья? Какие там, в тумане, обретенья? Какие там ключи — и что сумею открыть я ими? Двери иль врата? Кристалл магический и зеркало ночное. Свеча, горящая на краешке столетья. Клич. Или плач? Начертанное слово. Но что — за словом? Ночь. А что за ночью? Речь. Имя времени. Оно всегда — со мной.

— ...Итак, поэт — прирожденный похититель живого огня, — говорит сквозь время Рембо. — Он в ответе за человечество, да вдобавок еще за животных. Свои вымыслы сделать обязан он ощутимыми во плоти, осязанию и слуху открытыми. Если то, что принес он *оттуда*, обладает какой-нибудь формой, он дает его воплощенным в эту форму, а если оно изначально бесформенно, он оставляет его бесформенным. Отыскать сообразный язык, — да к тому же еще, благо слово любое — идея, — настанет, верю я, время всеобщего языка! Надо быть академиком, видно, помертвее иных ископаемых, чтоб словарь без конца улучшать... Этот новый язык неизбежно станет речью души, обращенной к неизменно чуткой душе, все на свете в себя он впитает — сонмы запахов, звуков, цветов, мысль он с мыслью накрепко свяжет и сумеет ей дать движение. Поэту тогда придется неустанно определять, сколько там в его время неведомого во всеобщей душе возникает; будет сделать обязан он больше, чем уметь излагать свои мысли, больше, нежели просто оставить подступней для всех описание пути своего к Прогрессу. Поскольку необычайное обернется нормой, осваиваемой всеми разом, поэту должно быть множителем прогресса. Грядущее это будет материалистическим, как видите сами вы. Наполненные всегда Числами и Гармонией, поэмы такие будут созданы на столетья. В сущности, это была бы в определенной мере греческая Поэзия. У искусства такого вечного будут собственные задачи, потому что поэты — граждане. Поэзия перестанет действие выражать в ритмах; она окажется уже далеко впереди. Грядут такие поэты!.. В ожидании мы потребуем от поэта *нового* — в сфере идей и форм. Все умельцы решили бы, что они-то способны справиться с требованием таким: нет, это не то!

Нет, не стану я растолковывать — что, да как, да где, да тем более почему. Зачем объяснять? Ночь как ночь. И речь моя — с нею. Клич ли в ней, а может, и ключ, плач ли в ней — да не все равно ли? Вам-то что? Пусть встало из боли все, чем жив я. Дыханьем лет, с кровью давших мне когда-то, переполнена эта книга. Ими, славными, я поддержан — в одиночестве, в тишине. Здесь, в глуши моей, — осень. Странно, что, как прежде, я сросся с нею. И не странно вовсе. Привычно. И в диковину все же. С ней — связи тайные. Нити. Ноты, по которым сыграют что-то небывалое — там, в грядущем. Но когда? В свой час. Поздний час. Осень с памятью чай привыкли пить со мною. Сидим в затворе — и чаевничаем. Земное дружит издавна и с небесным. Запредельное — тут как тут. Зазеркальное — тоже рядом. Что — за словом? И что — за взглядом? Что за свет — за осенним ладом? Где-то верят — и, может, ждут. У тебя что ни сон — то с явью. У тебя что ни шаг — то с правью. Век — в сраженьях бессчетных с навью. Внук Стрибожий глядит в окно. Ты Сварожич — и, солнце славя, говорить ты сегодня вправе о таком, что в крови и нраве — и с душой твоей заодно.

Потому-то Рембо говорит:

— Открытия неведомого требуют новых форм.

И говорю я в отдалении своем:

— Символ времени. Символ веры. Знак судьбы. Пространства завет. Образ мира — и грозной эры. Грустный голос. И — ясный свет.

* * *

Есть особые люди среди нас,
что встают, подобно холмам,
и грядущее прозревают
Настоящего много лучше
и отчетливей, чем бывшее.

Ну откуда она взялась,
эта вспыхнувшая звездой
в городской полумгле строфа,
вдруг возникшая предо мною
и пришедшая навсегда?

Из печали, конечно, —
из этого старого, странного зеркала.

Всею ртутной, подвижную прорвой своею, подслеповатой и жуткой, донельзя, до невозможности бездонной, страшщей и все же завораживающей, неудержимо и властно притягивающей к себе, зыблется и отрешенно мерцает оно где-то там, внутри, в такой умопомрачительной глубине и в таком невообразимом отдалении, что голова идет кругом и все тело охватывает беспокойная, зябкая дрожь.

Что же прячется в нем?
Из каких измерений,
из каких неизвестных миров
доносится к нам
невозможное эхо кричащей его немоты?

На каком языке говорит оно?
На каких волнах,
на каких частотах
возможно отыскать и услышать
хрипловатый голос его?

А ведь мы его слышим.
Более того — понимаем.
Чем? Как? Почему?

Значит, попросту нет немоты.
Нет безмолвия в мире.
Все звучит, и в звучании — жизнь.

Тьма и свет,
пограничные области и состояния —
тоже наполнены звуком.
Звук — залог выживания,
выразитель продолжения и развития сущего.

Звук — знак.
Из него растет новизна.
Причем корни ее направлены вверх.

Тем, что вверху, питается мысль.
Попробуй сдержи постижение сути!

«Корень становления человека — в небе.
Небо — праотец человека», —
так твердил еще во втором веке до нашей эры в Китае один мыслитель, по имени Дун Чжун Шу, — и он был прав.

Но живущие небом,
частенько мы скорее подразумеваем его, нежели чтим.
И тогда земное —
наверстывает упущенное, берет свое.

Так, в чередовании дней, забываем мы не только о главном, но и о второстепенном, вообще забываем о том, что даровано свыше, существуем словно в каком-то дурмане, как под гипнозом, среди совершенно ненужных занятий и всяких забот, в долгий ящик откладываем свои начинания, замыслы, тянем с тем, что давно уже надо бы сделать, пока не спохватимся, — а до этого надо еще дожить, вот в чем досада.

Ну а зеркало?
Что с ним тогда?

Привычное для исподволь бросаемого на него рассеянного взгляда, зачастую слегка припорошенное далеко не всегда замечаемым и слишком уж редко вытираемым, легковесным, почти пуховым налетом не грубо прилипчивой, въедливой пыли, а скорее пыльцы, притянутой им к себе как магнитом из непрогретого воздуха, из всего этого мнимого, без рассуждений урезанного стенами простора лишь кажущегося надежным, а на поверку очень условного, даже призрачного людского жилья, или же открытое откровенно густым слоем самой настоящей пыли, плотно слежавшейся и тяжелой, полузабытое, хоть и не отвергнутое, находящееся осторонь, словно выпавшее из круга интересов, отодвинутое на задний план, оставленное на потом, а пока что обойденное вниманием, обиженное, никем не замечаемое и по причине жестокой невнимательности этой незаметно втянутое, как в воронку, в монотонную прозу повседневности, катастрофически утрачивающее поэтичность, заурядно будничное, ну разве что где-нибудь сбоку, в укромном уголке, украдкой спрятавшее на память, упрямо удержавшее рядом с собою, при себе, только им одним различаемый, только им и лелеемый отголосок минувшего праздника, крохотный, полный высокого значения след, так, ничего необычного с виду, вроде бы мелочь, пустяк, скромный простенький знак, понятный только ему и тем более для него дорогой, если честно — то драгоценный, лежит оно среди прочих вещей, заполняющих быт наш хаотично и непреложно, где-нибудь здесь, под рукой, — до поры, разумеется, до своей вдохновенной поры, до того наконец-то пробившего часа, когда оно разом вступает в игру.

И тогда, совершенно некстати, преднамеренно или случайно, всем волшебным стеклом своим, скользким на ощупь, запотевшим, туманным, всей его твердой, тяжелой, но все-таки призрачной плоскостью, то отвесной, а то и наклонной, накреньясь в никуда, как Пизанская башня, уже застывает, зависает оно, онемев от решимости, обомлев от восторга, рискуя, на едва различимой впотьмах, ощутимой одним лишь чутьем, ускользящей, тающей, брезжущей грани вероятного, на хрупкой, чуть ли не

ледяной кромке, на самой краешке реальности, прямо перед незримой, хотя и воспринимаемой почему-то как резко и отчетливо проведенная кем-то существующим по ту сторону от нее, пограничной, предельной чертой, за которой мгновенно встает и вопрошающе ждет сама неизвестность, — и на глазах превращается в нечто живое, даже, может быть, — кто его знает? — одушевленное, пусть и открытое только тебе.

Полустертое, тусклое, такое огорчительно непрочное и — надо же — такое паразитично долговечное, изборожденное ломкой, извилистой сетью то едва различимых, то укрупненных, неровной буквенной вязью расплзшихся по стеклянной поверхности и меланхолично образовавших кое-какие замысловатые арабески трещин, этих неумолимых примет разрушения, разительно несхожих, например, с плотно идущими друг за дружкой годовыми кольцами деревьев, гибкими, расширяющимися в диаметре от центра ствола к его краям, хорошо знающими себе счет и продолжающими увеличивать свое число в геометрической прогрессии характерными бороздками, буквально звучащими, как на грампластинке, было бы кому ее завести и послушать, этими явными заметами для себя, дневниковыми записями роста, приметами созидания, — все равно причастно оно к некоей тайне, и ничего с этим не поделаешь, и изменить этого нельзя никому.

Одним большим глотком студеной воды, сложным по составу, сразу и живой и мертвой, отравленной и целебной, намагниченной этой вот тайной, заряженной прошлым, благословенной настоящим, осененной грядущим, утоляющей жажду, хрустальной, прозрачной воды, вобрало оно в себя все суеверия мира, все недомолвки, загадки, легенды и сказки земли.

Холодным, струящимся, напоминающим лунное свечение серебром отсвечивает, каким-то беспредельным, наверное — вселенским, искрящимся эхом отзывается здесь, в тишине, в уединении сердца, в одиночестве чистой души, посредине житейской пустыни, чудесное это зеркало, это магическое зеркало, в которое, так и не смирившаяся с предопределенностью, не желающая сдаваться, выжившая и оттого безоговорочно родная, устало смотрится долгими вечерами, быть может, и постаревшая, но зато уж точно всегда нечаянная радость.

И не только из жгучей, из вещей печали.

Даже больше — из давней, матерой, обостренно-ревнивой, очень личной, а может быть, кровной, наследной тоски, неуклюже скрываемой от окружающих, по привычке наивно таимой, но от этого лишь более очевидной, набирающей силу и власть, вошедшей во вкус, по живому режущей, застающей врасплох, изводящей умело, со знанием дела, неизменно жестокой, но порою внезапно добрееющей, что ли, по крайней мере чуть ослабляющей чудовищное давление, хотя и не прекращающей ни на долю секунды гипнотическое свое воздействие на все мое существо, и тогда, взамен гнета, в качестве дара, прямо в тон поговорке «не испытать горького — не видать сладкого», доверительно приоткрывающей пытливому и чуткому сознанию какие-то невыразимой новизной изумляющие вещи: ведущие именно туда, куда надо и куда сроду не пройдут другие, непосвященные, не ведающие о сложных наших с нею, тоской, отношениях, посторонние, чужие, одним легким прикосновением руки распахивающиеся тяжелые с виду двери, за которыми — звук и цвет, взлет и свет, поднимающиеся к откровенно новым измерениям ступени, потайные закоулки, подземные ходы под ничем о них не знающими, грузно раскинувшимися наверху городами, целые лаби-

ринты, замаскированные лазы, узкие каналы, замшелые шлюзы, свежие родники, глубокие криницы, степные балки, хмурые яры, скрывающие ключи к ведической старине курганы, узловатыми жилами напрягшиеся древние валы, долгою чередой протянувшиеся холмы, горные кряжи, лесистые перевалы, подернутые седоватой хмарью или реющие в безоблачном небе вершины, птичьи стаи, сплетенья корней, чернозем да пески, камень да глина, чебрец да полынь, и вовсе не торные, а сокровенные тропы, и неожиданно обнаруживаемые прямо у ног, еще не исхоженные, можно догадаться — явленные дороги, чтобы идти по ним да идти, поначалу вперед, а потом и вспять, к истокам своим, — словом, все возможные и невозможные пути в пространстве, с которым я вроде бы давно уже накоротке, и особенно во времени, где, судя по всему, с годами я все больше привыкаю ориентироваться и все уверенней и свободнее начинаю перемещаться.

А еще — из желания музыки, из томленья по музыке, из ожидания музыки, — из вселенской, Божественной музыки, от рожденья дарованной свыше и вечно звучащей во мне, из разрозненных отзвуков ее и сближающихся переливов, из отдельных нот и летучих мелодий, из переключки разнообразных инструментов, из которых невидимые исполнители извлекают звук, выдувая его, срывая, сощипывая, получая посредством удара, вытягивания со струн при помощи гибкого волосяного смычка, любым способом, лишь бы это звучало, слышалось, воспринималось, доходило, проникало, осознавалось, из хоров и оркестров, из разраставшейся в мозгу, всеобъемлющей музыки.

И, само собой, — из обрывочных мыслей, из разрозненных воспоминаний, из роя ощущений, догадок, вопросов к самому себе, сомнений, находок, взглядов в окно, шагов по комнате, прислушиваний к чему-то почти произнесенному, будто слово движется навстречу и вот-вот появится, из всего того смутного, брезжущего, необъяснимого, непонятного тому, кто подобного не переживал, из неминуемого, сложного, многообразного состояния души, которое предшествует состоянию транса.

Вот тогда-то и начинается чудо.

Вот тогда и работает речь.

* * *

...Так вернусь к началу всего, что явилось мне в детстве, чтобы слышал я звучанье Вселенной, что раскрылось в грядущем, — к музыке.

...В понедельник шел снег, и во вторник шел снег, и в среду шел снег. Да, снег шел в эти дни, — и в четверг было в округе белым-бело, и в морозном, звенящем не то колокольцами, пусть и незримыми, но зато хорошо различимыми там, в глубине синевато-молочной, в томящей дали, в поднебесной крутой высоте, не то электрически-резкими вспышками, торопливыми блестками, искорками, прозрачном и чистом, вернее — опрятном, не будничном — праздничном воздухе, пронизанном чувством, единым для всех в это утро, и поэтому радостным, даже немного пьянящим, — обретения сказочной воли — стояли дымы и деревья, и под ними стояли дома, и стояли у каждого дома наметенные за ночь сугробы, и тянулись от скользких крылечек тропинки в глубоком снегу, разбегаясь на улице в разные стороны, соединяясь и опять ответвляясь, чтоб встретиться вновь за углом, и в садах прилетали к кормушкам пуши-

стые птички, щебеча о своем, и зима начиналась уже за окном, чтобы там продолжаться, где сердцу была она так бесконечно мила — то ли в тихих мечтах, то ли в снах, то ли в детстве моем.

Нет конца и начала мечтам, да и снам, да и детству — моему, разумеется, лично-му, кровному, — это уж точно, потому что мечты в нем и сны заодно с той поистине дивной, распахнутой настезь для зренья и слуха, для сердца, для чистой души, нескончаемой новью и явью, что всегда приходила сама, каждый раз открываясь какою-то свежеею гранью, небывалым доселе наплывом любви и тепла, изумленьем, а там и познанием, ясным опытом, знаком из будущих лет, за которыми — свет, до которых не просто сейчас дотянуться, да и надо ли? — то-то и так хорошо мне дышать в драгоценном былом, где зима за окном, где огонь полыхает в печи, где светло в нашем доме, и никто никогда не посмеет нарушить всего, что в единстве своем называется просто — гнездом, называется — кровом, называется — счастьем, да, именно так, потому что истоки — вот здесь: черепичная кровля, беленые стены, двор, сад, небосвод над заречным густым черноземом в снегу, ветви, лозы, стволы бесконечных растений, движение зимнего дня прямо в бездну пространства, где время — всего лишь условность, имя, прозвище, обозначенье чего-то такого, которого в досталь хватает для всех — даже, может, с избытком его — ну куда его нынче девать? — вот и плещется там, за стеной, за оконным стеклом, разливается вдоль, далеко по степям, поднимается ввысь, приближается валко, подходит вплотную, обдаёт ветерком, залетевшим из форточки, вкось убегает, чтоб сразу вернуться ко мне и остаться со мной навсегда — в детстве, в таинстве, в празднестве, в мире, в кругу постиженья вселенной огромном, — в том раю, где я рос, — и отнюдь не в грядущем бездомном.

Не было, что ли? Было! Было — еще и как! Так было, что — вот оно, рядом. И не думало уходить. Наоборот — осталось. Навсегда. На потом. На сейчас. То есть — попросту живо. Дышит. Продлевается — сквозь пространство. Ну а время — давно с ним в родстве. Существует. Выжило. Длится. Постоянно напоминает — о себе. Но в нем-то я весь. До сих пор. С той поры. Доныне. И, надеюсь, — на весь мой век. Просто — знаю. И — твердо верю. И люблю. Потому что — так, только так — и никак иначе можно жить. Говорить. Творить. Да, творить. Ибо жив я — в речи. В той стихии, чей свет храню. В той материи, что в единстве со вселенной. Как, впрочем, и время. Потому что из детства — все: и судьба моя, и писания, и характер, и даже самое сокровенное, дорогое. От рождения. От земли, на которой я вырос. От почвы, на которой возрос мой дух. И покуда я жив, покуда говорю я, покуда слово наполняется смыслом, знаю: да, со мной она, родина речи. Здесь. В душе. И, конечно, в сердце. В каждом дне — и мгновенье каждом. Здесь. Но все-таки — и повсюду, где бы ни был я. Все равно не расстанусь я с ней. Так надо. Так — достойнее жить. Светлее. Так — привычнее мне. Покоя, да и воли — не занимать, если родина — прежде боли, выше славы и глубже тайны. Это — память. И это — песня. Это — музыка. Это — явь. Это — правь. Это — древность наша. Почитание предков. Сила, что питает меня. И верность той традиции, что одна справедлива и непреложна в мире нынешнем, в годы смуты, у истоков нового века, на заре счастливых времен и каких-то иных знамен, где в слиянье людских племен грустный отсвет наших имен отразится, быть может, в чем-то, что иметь отношение будет и к духовности, и к искусству, где, конечно же, прозвучит светлый отзвук того, что было нами создано — или, может, все же музыка разрастется, — да, конечно, — быть по сему, — только музыка, только с нею мы останемся, — я останусь, — как и родина речи — там-то все когда-то и началось, — не случайно над нею снова край спасительного покрова прозреваю — и крепнет слово — и сияние поднялось.